



М.И.  
А.П.И.С.А.И.Е.В.



Михаил Арцыбашев

Тени утра

I

Была весна. Паша Афанасьев, гимназист восьмого класса, освобожденный от экзаменов по болезни, и гимназистка Лиза Чумакова стояли у плетня, который перегораживал два сада. Лиза прислонилась плечом к плетню, и с тем, еще детски серьезным и уже девически нежным выражением своих серых, немного выпуклых глаз, которое появлялось у нее всегда в важных случаях жизни, слушала и глядела вниз, на книгу, которую держала, и на оборки своего светло-серого платья. А Паша Афанасьев, с другой стороны навалившись грудью на плетень, потому что ему было трудно стоять, — высоким, надтреснутым голосом говорил:

— А если вас не пустят, так удерем сами!.. Не пропадем... как-нибудь! Я вам там уроки достану, переписку какую-нибудь. Проживете, ничего!.. А трудно будет сначала... так что ж, без этого нельзя! — беззаботно махнул рукой Паша Афанасьев. — В этом даже своя прелесть есть, право... А то что ж тут торчать?.. Там ведь жизнь какая!.. Там все движется, живет... С работы на сходку, — со сходки в театр или библиотеку... вот это я понимаю, это жизнь настоящая; а то, что ж это?.. Я как подумаю, что двадцать лет просидел в этой дыре проклятой, так...

Паша Афанасьев отломил от плетня гнилую серую палку и с отчаянием швырнул ее в траву.

Где-то далеко, за зелеными деревьями и кустами, разливавшими вокруг какое-то бесконечно зеленое море, насквозь пронизанное светом и тысячами удивительно отчетливых свежих звуков, горничная Чумаковых Василиса звонко прокричала:

— Ба-рышня!.. идите обедать!.. Ау!.. В этом неожиданном лесном «ау» было что-то такое бесшабашно веселое и жизнерадостное, что Лиза и Паша Афанасьев разом взглянули друг на друга и улыбнулись.

— Иду-у! — громко, так, что где-то вблизи вздрогнуло маленькое круглое эхо, крикнула Лиза, оттолкнулась плечом от плетня и, опять сделав то же наивно-серьезное выражение лица, сказала низким и полным голосом:

— Может быть, и не пустят, но я поеду... — и, помолчав, прибавила: — Я уж так решила.

Паша Афанасьев восторженно щелкнул пальцами.

— Ну, вот это я называю — молодец Лизочка!.. — радостно задрожавшим, светлым голосом сказал он. И вы жалеть не будете, Лиза, милая!.. Они, что ж... посердятя и перестанут; а у вас вся жизнь впереди!.. Эх, заживем мы там с вами!.. Работать будем так, что только держись!.. Время-то теперь горячее, рабочее, — люди нужны... Кружок у нас там будет свой, хороший... Будем искать людей дела! — басом прибавил Паша Афанасьев. — Мы с вами ведь еще и сами не знаем, какое счастье окунуться в самую гущу жизни... Когда идешь и чувствуешь, что тут рядом, плечо в плечо, шагают такие же люди, рабочие, сильные... смелые...

Паша Афанасьев сжал кулаки и задорно встряхнул головой. На лицо его падал свет, и темные глаза блестели восторгом и силой, и оттого ярче обозначались на этом лице бледные черты слабости и болезни. Лиза внимательно и доверчиво смотрела на него.

— А то читаешь, как люди живут, борются, свое счастье куют... иной раз дух захватывает, так, кажется, и побежал бы впереди всех, а... ты только из книжки, сидя за чаем с вареньем, и узнаешь, что есть какая-то иная жизнь, не похожая на твое куриное прозябание...

Лиза тяжело вздохнула и дернула себя за кончик косы.

— Итак, значит, по рукам? — с шутливой торжественностью спросил Паша Афанасьев, протягивая руку через плетень.

Лиза, улыбаясь, посмотрела в его юное милое лицо, — такое мужественное и также нежное, чуть тронутое пухом, — и подала свою руку, маленькую, с пухлой ладонью и прелесть какими хорошенькими, изящными пальчиками, которые так и хотелось медленно и осторожно перецеловать все подряд. Паша Афанасьев крепко встряхнул ее, и на глазах у него выступили светлые беспричинные слезы.

— Ах, вы, милая моя Лизочка! — задушевно-напряженным голосом сказал он и слабо вздохнул больною грудью.

— Барыш-ня!.. — настойчиво прокричала где-то уже совсем близко Василиса.

Лиза кивнула головой Паше Афанасьеву и пошла по дорожке, быстро и упруго ступая желтыми туфельками на обтянутых черных чулках.

— Да... — вдруг хлопнул себя по лбу Паша Афанасьев. — Лиза!..

Лиза сейчас же остановилась и оглянулась.

— Я вам и забыл сказать... Попутчица-то для вас уже есть: Дора Варшавская... Тоже на курсы едет... Она из Полтавской гимназии...

— Жидовка? — спросила Лиза издали.

— Жидовка... то есть еврейка! — огорчился Паша Афанасьев. — Как вам не стыдно, Лиза, ей-Богу?.. Я думал, вы выше этого!..

Лиза внимательно и серьезно посмотрела на него.

— Я не о том... сказала она спокойно. — Так...

— Я вас с нею сегодня познакомлю на бульваре, хорошо? — спросил Паша Афанасьев, мигом успокаиваясь. — Она очень хорошая, развитая девушка...

Паша Афанасьев задумчиво посмотрел ей вслед, держась за плетень обеими вытянутыми худыми руками и покачиваясь назад и вперед. Потом мечтательно поглядел вверх, где сквозь зеленую решетку листьев ярко голубело небо. В голове у него все еще стояло что-то огромное, какие-то рычаги, люди, какое-то веселое и страшное движение. Паша Афанасьев закрыл глаза, провел рукою по мягким волосам и пошел домой, прямо по бурьянам, по молодой зеленой траве, сплошь пересыпанной мелкими разноцветными глазками простых цветов.

Стол был накрыт на балконе, и Павел Иванович с Ольгой Петровной сидели за столом. Василиса подавала белую миску с зеленой ботвиньей, звеня своими бесчисленными монистами на раскачивающейся во все стороны крупной и твердой груди. Гимназистик

Сереза бежал с балкона за сестрой.

— Иду, иду! — крикнула она ему и вдруг, встряхнув косой, увернулась и неожиданно пустилась бежать вокруг площадки, быстро мелькая желтыми туфельками. Сереза взвизгнул от восторга и понесся за ней. На балконе удивленно и озабоченно залаяла белая лаечка и, подняв хвост калачиком, со всех ног пустилась за ними, точно покатился какой-то пушистый белый шарик.

Павел Иванович степенно опустил газету на колени, снял очки и снисходительно улыбнулся. Ольга Петровна пролила мимо тарелки ботвинью и засмеялась.

— Ну, расшалилась... а еще невеста! — мягко и с радостной любовью сказала она.

Лиза стремглав облетела вокруг большой клумбы, налетела на лаечку, запутавшуюся в подоле ее серой юбки, и упала на дорожку, руками в чистый желтый песок. Развернувшаяся книга, сверкнув на солнце белыми листами, далеко полетела в траву.

— Ага! — оглушительно закричал Сереза и осторожно схватил ее за длинную, развившуюся косу. — Поймал!

— Я сама упала... — серьезно возразила Лиза, встала, подняла книгу и степенно пошла на крыльцо. Лаечка выжидательно вертелась у нее под ногами, то и дело становясь на задние лапки; а Сереза задира, встряхивая круглой выстриженной головой.

— Да... упала... Я бы все равно поймал!

Лиза села за стол, взяла ложку и задумалась. Все смотрели на нее. Было что-то такое радостное, милое и красивое в ее молодости, в ее небольшой упругой груди за серым, строгим платьем, в ее только что закруглившимся плечах, в свежем запахе ее волос и нежного, сильного, молодого тела, — что вокруг нее всегда и везде устанавливалась чистая атмосфера молодой радости, в которой легко дышалось и интересно, весело жилось. Ее новая, могучая жизнь, наполнявшая все ее существо, была ключом, освещала и согревала все вокруг.

Ложки слабо позвякивали о края тарелок; лаечка чихала под столом; солнце золотило волосы Лизы. Было просто, тихо и светло.

## II

Вечером пришел корнет Савинов, предполагаемый жених Лизы, и зазвенел на балконе шпорами, сверкая лакированными голенищами сапог и туго натянутыми рейтузами.

Было так тихо в воздухе, прозрачном и светлом от лучей уже невидимого солнца, что все звуки казались стеклянными и дрожащими, а легкое покашливание корнета гулко отдавалось в саду между темными, сочно зелеными деревьями.

Сереза надел фуражку и пошел на реку ловить рыбу удочкой, на которую, черт знает почему, никогда ничего не ловилось; а Лиза закрутила в толстый жгут волосы и сказала:

— Николай Николаевич, мы пойдем на бульвар.

Корнет радостно звякнул шпорами и, отчетливо шагая лакированными сапогами, принес ей с балкона накидку.

Они пошли под руку, и в тех напряженно осторожных движениях, с которыми корнет нес маленькую круглую ручку, доверчиво лежавшую на белом рукаве его кителя, было видно, что все его существо, плотно затянутое в рейтузы и китель, также напряжено в одно бесконечно благоговейное чувство любви, восторга и робкого, почти целомудренного желания.

На дворе они встретили мамку квартирантов с маленьким ребенком на руках. Ребенок тарачил глупые водянистые глазки и тянулся к Лизе.

Лиза бросила корнета и взяла ребенка на руки. Она высоко подкинула его вверх, потом прижала щечкой к своей щеке и посмотрела на корнета.

— Гм!.. — хмыкнул ребенок и счастливо засмеялся, размахивая короткими обрубками-ручонками и пуская пузыри.

Лиза вдруг сконфузилась, отдала ребенка и чинно пошла вперед. На лице у корнета было написано такое счастье, что оно стало блаженным.

На бульваре их встретил Паша Афанасьев, гулявший с маленькой, сухонькой барышней, у которой были большая голова с сухими черными волосами, еврейские миндалевидные глаза и мелкие, торопливые движения.

— А, вот и вы, Лиза! — громко сказал Паша Афанасьев, и не сразу, сухо прибавил корнету, которого, как и всех военных, не любил и считал глупым, пустым человеком:

— Здравствуйте, господин Савинов!

— Здравствуйте!.. — дружелюбно ответил корнет. Паша Афанасьев немедленно отвернулся от него и сказал Лизе и маленькой еврейке:

— Ну, вот познакомьтесь: это Дора Моисеевна Варшавская, а это Лиза Чумакова, о которой я вам говорил...

Лиза протянула руку, и Дора крепко и отрывисто встряхнула ее своей узкой и сухой рукой.

— Очень рада с вами познакомиться... Паша мне много о вас рассказывал.

В конце бульвара был военный клуб, и в саду играла музыка. Звонкие металлические звуки труб далеко разносились по бульвару, гоняясь друг за другом в каком-то неопределенном мотиве, не то очень грустном, не то очень игривом.

Девушки пошли рядом впереди, а корнет и Паша Афанасьев тоже рядом сзади.

— Трам... та-та... трам... та-та... там! — тихо и с удовольствием повторял за мотивом корнет.

— Терпеть не могу военной музыки! сказал Паша Афанасьев, брезгливо морщась не потому, что ему действительно были неприятны звуки труб, — в таком прозрачном воздухе все звуки были чисты и приятны, — а потому, что корнет казался ему пошлым и раздражал его.

— Разве? — спросил корнет дружелюбно и высоко поднял брови.

Представьте себе! с иронией ответил Паша Афанасьев. — И звуки какие-то пошлые, и мотивы ваши капельмейстеры выбирают какие-то... черт их знает!.. Скажите, пожалуйста, ведь есть же хорошая музыка!.. А впрочем, у них в каждом звуке слышится, что до музыки собственно никому нет никакого дела, а просто надо увеселять обывателей, — ну, и увеселяют...

— Что ж, — уступчиво возразил корнет, — все-таки приятно, знаете, в такой чудный вечер послушать хорошенький мотивчик.

Паша Афанасьев посмотрел на него с уничтожающим презрением и закусил себе губу.

— Вот, — с удовольствием прислушиваясь, сказал корнет, — оч-чень хорошо... Это из «Гейши»... — с еще большим удовольствием пояснил он и слегка прищелкнул в такт пальцами.

Паша Афанасьев, окончательно искривив губы, посмотрел на него и хмыкнул носом. Лиза повернула голову и серьезно посмотрела на корнета.

— Ну-с, — сказал Паша Афанасьев, помолчав, — итак, мы все осенью двинемся...

— Да... — резковатым и отрывистым голосом ответила Дора.

— Куда? — спросил корнет удивленно.

— В Петербург! — ответил ему Паша Афанасьев, и ему почему-то стало жаль корнета.

— То есть... А Лизавета Павловна? — тем же удивленным тоном спросил корнет, и в его мужественном голосе что-то вздрогнуло.

— Все, все тронемся!.. — сказал Паша Афанасьев. Корнет замолчал, и на его красивом и неумном лице ничего нельзя было разобрать.

— Вы решили, на какие курсы? — деловито спросила Дора.

— На медицинские, конечно! — с жаром ответил за Лизу Паша Афанасьев.

— На медицинские... — серьезно сказала и Лиза.

— Я думаю, тут не может быть выбора! — горячо заговорил Паша Афанасьев, как-то чересчур молодо размахивая руками. — Что такое при теперешних условиях педагогические курсы? Чепуха!.. Учить тому, чему вам хотелось бы, не позволят, а вдалбливать азбуку... слуга покорный!.. То ли дело медик! В его-то дело вмешаться трудно... А какое, в сущности, счастье хоть одного человека спасти от смерти или страданий!.. Глядишь, совсем пропала жизнь и вдруг... ведь это только понять надо!..

Добрые большие глаза Паши от волнения покрылись влагой.

— Да, и притом это самое нужное теперь народу! И медику легче всего пропагандировать! — немного в нос отозвалась Дора.

Музыка оборвалась на высокой ноте резкой и звонкой трубы. Стало тихо. Звезды незаметно высветились над городом, а на бульваре потемнело так, что не видно стало уже лиц. В конце бульвара, под большими липами, вспыхивали папиросы и чуть-чуть белели кители офицеров.

— А впрочем, — проговорил Паша Афанасьев таким углубленным голосом, точно отвечал на свои собственные мысли, — всякий труд есть труд прежде всего... Исполняй честно свое дело, а польза будет... Дело не в том, а в том, чтобы самому зажечь настоящей жизнью, чтобы были в ней борьба и победа... Ах, когда я подумаю, что еще два-три месяца и я буду далеко от всех этих сереньких, сытеньких, спокойненьких людишек, от всех их мелких интересиков, — так у меня даже в груди что-то замрет!

Корнет издал какой-то неопределенный, дрожащий звук.

— Что? строго спросила Лиза. Корнет промолчал.

— Главное — учиться, учиться и учиться! — резким голосом, точно считая, и встряхивая головой, проговорила Дора. — В этом сила, в этом все!.. Нам нужны только образованные люди, — довольно дилетантов... С голыми руками в наше время ничего не сделаешь!

— Ну, да, — сказал в темноте голос Паши Афанасьева. — И не только для того, чтобы что-нибудь сделать, а прежде всего для самого себя, для своей личной жизни прежде всего... Надо знать все, чтобы уметь понимать всю красоту и радость жизни!

— Расширить кругозор... — вдруг неестественно уверенным тоном, в котором было слышно что-то робкое и жалкое, сказал корнет.

Все внезапно замолчали, так что стало даже неловко.

Лиза опять посмотрела на корнета, но в темноте не увидела ничего, кроме белевшего кителя.

Паша Афанасьев засмеялся коротко и враждебно. У него уже не было жалостливого чувства к корнету, а было приятно оборвать его и унижить.

— Для корнета христолюбивого воинства и то слава Богу! — шепнул он Доре.

— Н-да... — сказала Дора, и по голосу ее было слышно, что она сдерживает насмешливую злорадную улыбку.

И, оттого что пропало чистое дружелюбное настроение и сменилось мелкой злорадностью и обособленностью, вдруг всем стало уже не так весело, как-то пусто и неловко.

— Пора по домам, — сказал Паша Афанасьев и почему-то вздохнул. Дора зевнула.

— Да-а...

Они все проводили Дору до ворот ее дома и пошли назад втроем. Дорогой Паша Афанасьев спрашивал корнета, читал ли он Ницше и Маркса. Корнет отвечал, что читал; но в голосе его была слышна неуверенность, и когда Паша Афанасьев злорадно спрашивал его, помнит ли он то или то, корнет каким-то мучительно тупым голосом и, дыша через нос, говорил:

— Не помню, право... Кажется, это я пропустил... Знаете, так мало времени свободного...

Лиза серьезно слушала их, и ей было странно, что одно время, еще так недавно, она собиралась замуж за корнета. Теперь она подумала, что этого ни в коем случае не будет, и почему-то ей стало грустно.

Паша Афанасьев остановился у своего дома, а корнет проводил Лизу еще несколько шагов до калитки ее двора. Им было слышно, как Паша Афанасьев, подымаясь на деревянное крыльцо, стучал каблуками, а потом загремел щеколдой.

— До свиданья, Николай Николаевич! — сказала Лиза, протягивая руку.

Корнет взял ее руку и сейчас же выпустил.

— Лизавета Павловна, — вдруг заговорил он дрожащим и странным у такого большого, мужественного человека, слабым голосом, — это, значит, правда, что вы уезжаете?..

Лиза вдруг неприятно вспомнила, как Паша Афанасьев, смеясь, уверял ее, что, когда она скажет Савинову о своем отъезде, корнет вытащит из кармана пушку и сейчас же «безвозвратно» застрелится.

— Еду... — сухо и даже враждебно, как никогда ни с кем не говорила, ответила она.

Корнет помолчал.

Левая нога его в гладко натянутой синей рейтузе сильно дрожала и что-то непонятное, тяжелое и безнадежное давило под грудь.

— Так... — срываясь, выговорил он. — Зачем?..

— Учиться, конечно... — пожала мягкими плечами Лиза и строго посмотрела на него.

— Разве это... непременно надо? спросил корнет.

Лиза не ответила, и ей все страннее казалось, как это она могла думать выйти замуж за такую тупую и ограниченного человека.

— Ну, пора домой... — сказала она холодно. — До свиданья!

— А я, Лизавета Павловна... что ж... пулю в лоб!.. — пробормотал каким-то бессмысленным и тяжелым голосом корнет и совсем не то, что хотел сказать.

— Из пушки? — серьезно спросила Лиза.

— Н-нет... — удивился корнет. — Почему из пушки?

— Так... До свиданья! — сказала Лиза и опять протянула руку.

Корнет хотел еще что-то сказать, но мучительно проглотил и остался один. С минуту он стоял неподвижно, а потом повернулся и тихо пошел по улице, цепляясь шпорами.

Сторож неодобрительно постучал где-то в темноте под забором.

### III

Через четыре месяца Лиза Чумакова и Дора Варшавская ехали в Петербург. Паша Афанасьев уехал раньше и должен был встретить их на вокзале. Ехали они в третьем классе.

Была уже осень, и погода стояла серая, дождливая, но еще светлая и тихая. Дождь шел целый день. Все было мокро — и вагоны, и рельсы, и начальники станций; шпалы почернели; проносившиеся мимо вздувшиеся речонки и лужи мелко рябили от дождя. Все было мокро и блестело, точно на каждом желтом листочке, на каждом столбе, на земле, на людях — была своя водяная прозрачная корочка. И все мелко дрожало и струилось под дождем.

Дора сидела на своем месте в вагоне и читала, а Лиза стояла на закрытой площадке у окна и смотрела своими выпуклыми, немного вопросительными глазами назад, где дрожащий за сеткой дождя мокрый, серый горизонт сливался с белым, однообразным небом. И ей все казалось, что оставленный город, отец и мать, Сережа, лаечка, старый дом, все такое бесконечно дорогое, до боли милое, где-то тут, сейчас же за горизонтом, и что если приподняться повыше на цыпочки — увидишь.

— Тра-та-та... тра-та-та... тра-та-та!.. — ритмически, с железной жестокостью стучал поезд, уносясь все дальше и дальше.



— Трррррах!.. — загудел и задрожал мимо высокий железный мост над какой-то большой, желто-грязной рекой. Лиза заглянула вниз и далеко под собой увидела, показавшиеся ей игрушечно маленькими, лодки, барки, тянувшиеся одна за другой, мокрые дрова на барках, серых маленьких людей, что-то ворочавших длинными тонкими шестами, и мутную, широкую, желтую воду, медленно уплывавшую куда-то, крутятся мелкими воронками и струйками водоворотов. Было грязно и печально на этой желтой реке, в размытых желтых берегах, по которым чахло и мертвенно-неподвижно зубились елки и березки. Все было такое чужое, холодное, незнакомое.

Лиза вдруг с ужасом подумала: «Что они там делают?..»

Было непонятно, чуждо, а потому страшно ей то, что делали маленькие незнакомые люди с длинными шестами, куда и откуда текла мутная река, кто и как жил на размытых желтых берегах, за этими зубчатыми елками и березками.

Когда стало смеркаться, Лиза вздохнула, пошла в вагон, где уже зажгли фонари и задвигались бестолковые огромные тени, и села возле Доры.

«Куда мы едем?» — хотела всей грудью, всем существом своим спросить Лиза, но вместо того сказала своим низким, немного ленивым голосом:

— Паша нас встретит, должно быть. Конечно... — ответила Дора.

Она уже давно перестала читать, и ей было теперь тоскливо, страшно и жалко себя в огромном, угловато неуютном вагоне, где копошились, лущили семечки, говорили неестественно громкими голосами, играли на гармонике и сдержанно ругались какие-то новые, странно грязные и озлобленные на что-то люди. В эту минуту та неведомая, полная движения, шума и успеха жизнь, которая давно ярко рисовалась ее жгучему самолюбию, показалась ей несбыточно невозможной, нелепой и жалкой. Она обрадовалась Лизе и, не спуская блестящих глаз, смотрела из своего темного угла на ее знакомое, давно милое, понятное лицо.

— Лизочка! — сказала Дора тихо.

Она взяла ее мягкую теплую руку своими сухонькими узкими руками.

Лиза внимательно посмотрела на нее и вдруг серьезным и широким движением обняла и притянула к себе.

— Нет, ты посмотри еще, а тогда приходи на это место и потолкуем!.. со злобой, резко выкрикнул кто-то из-за деревянной перегородки.

— Тиу!.. — плачевно пискнула гармоника.

Высокий, до странности худой мастеровой, в назинетовом пиджаке и в красной рубахе навыпуск, вышел из-за перегородки и, пошатнувшись, сел против Лизы.

— Куда изволите ехать? — спросил он, помолчав. Слышно было, что от него сильно пахнет водкой.

— В Петербург... — ответила Лиза.

Через перегородку стал сверху смотреть другой человек, должно быть, солдат с крутыми рыжими усами и рябым лицом.

— Так... — сказал мастеровой и стал тяжелым, пьяным глазом смотреть на Лизу, на лицо и на грудь. Стало страшно. Солдат вдруг засмеялся и фыркнул.

— А чего вы там не видели? — спросил мастеровой, и по заплетающемуся звуку его голоса и покачиванию вперед стало видно, что он страшно пьян.

— Лиза, — испуганно позвала Дора, — пойдем, постоим на площадке.

— Что ж, вы со мной разговаривать не желаете? — ломаясь, враждебно спросил опять мастеровой.

— Нет, отчего же... — торопливо ответила Лиза.

— Я спрашиваю... люб... бопытно мне знать, для чего, например, в Петербург?..

— Учиться... — покорно ответила Лиза. Солдат опять засмеялся.

— Учиться? — переспросил мастеровой. — А не...?

Солдат фыркнул, как лошадь, и от восторга упал лицом на перегородку.

Дора испуганно заплакала. Лиза смотрела на мастерового серьезными внимательными глазами, и в груди у нее что-то пустое и холодное мучительно сжало сердце.

— Вот я те как дам по уху, — неожиданно сказал с другой стороны вагона бородатый старый мужик в лаптях, — так будешь знать, как обижать зря, дурак!

Мастеровой мутными глазами посмотрел на него.

— А мне наплевать... черт с ними! — Он выругался скверным словом, встал и ушел.

— Наро-од!.. — укоризненно сказал старый мужик и тоже встал и пошел за ним.

— А вы отколе едете? — спрашивал он кого-то.

— Из-под Калуги... — ответил тот же мастеровой.

— А мы курские... — сказал мужик.

К вечеру воздух в вагоне стал еще тяжелее. За стеклами в темноте невидимо, дрожа, колотился дождь и бесконечно стучал поезд.

Дора тихо улеглась на своем месте, и чувствовалось, что она боится пошевелиться. Лиза опять ушла на площадку, с которой уже ничего не было видно, а было только холодно и мокро, и там простояла часа два, напряженно и тоскливо глядя в темноту.

Ей припомнилось, как два дня тому назад ее провожали из дома, Сережа и мать плакали, а в доме было так пусто, как будто только что вынесли что-то самое важное, без чего все должно затихнуть, опустеть, замереть. Потом на вокзале вдруг неожиданно подошел к ним Савинов, в серой, длинной, мокрой от дождя шинели, и лицо у него было серое, мокрое и измученное.

— Лизавета Павловна... — сказал он дрожащим голосом. — Я с вами хотел поговорить...

Лизе стало тяжело и неприятно. Все, что можно было сказать, уже было переговорено сто раз за это лето. Ей даже казалось, что все лето продолжался этот нудный, скучный разговор о том, чего нельзя было переделать. Сначала ей до слез было жалко корнета, но потом он стал раздражать ее и не потому, что надоел ей, а потому, что все смеялись над ним и ей, было стыдно, что она чуть-чуть было не вышла за него замуж.

— Он правильную блокаду ведет с вами! — говорил Паша Афанасьев. Бедный, он сильно страдает, а все похож на индюка, у которого выщипали хвост!

Все-таки она пошла с ним по платформе, блестящей от дождя.

— Вы скорее... — холодно заметила Дора.

— Сейчас! — ответила Лиза уверенно.

— Я не задержу Лизавету Павловну... — печально прибавил корнет.

Они прошли молча два раза взад и вперед. Корнет тяжело дышал и смотрел вниз, на забрызганные грязью лакированные сапоги.

— Ну, что вы мне хотели сказать? — спросила Лиза.

— Я... Значит, все между нами кончено? — проговорил корнет унылым голосом, и слышно было, что спросил он это Бог знает зачем, и сам прекрасно понимает, что все кончено.

Лиза молчала. Прозвонил первый звонок. Корнет вздохнул.

— Лизавета Павловна, — вдруг быстро заговорил он, — я, может быть, и очень смешной и... человек не... но я не стану вам мешать... Вы знаете, что более преданного вам человека вы не найдете... Я, правда, не понимаю, почему вам нужно ехать, когда вы и здесь... столько счастья всем... Может быть, я недостоин вас... конечно... но я бы пешком пошел за вами, если бы знал, что... Вы меня простите, Лизавета Павловна, если я...

Вдруг губы корнета задрожали и лицо его стало жалко и похоже на детское; он круто оборвался и замолчал.

Потом он деятельно помогал переносить вещи, кричал на носильщика и долго махал фуражкой, когда поезд пошел.

— А он, в сущности, ничего... — сказала Дора про корнета. — Только скучный ужасно.

И вот, глядя в темный четырехугольник окна, за которым что-то мерещилось, Лиза подумала теперь, что было бы, если бы вдруг, когда к ним приставал и ругал их мастеровой, дверь отворилась и вошел корнет. И вдруг ей страстно захотелось его увидеть, прижавшись, пройти по саду под руку, почувствовать себя безопасно, спокойно, чисто и просто.

Лиза тихо заплакала, и слезы катились мимо носа по еще детски пухлым губам и падали на закруглившуюся невысокую грудь.

#### IV

Весна началась. Вся земля вздохнула, точно свалилась с нее огромная, прилипчивая тяжесть. Это теплое, влажное, пахучее и радостное для всего живого дыхание земли было ясно слышно в городе, с полей и лесов, приносимое мягким упругим ветром. Где-то начинал таять мягкий, белый и хрупкий снег, потекли чистые струйки холодной, как лед, воды и появилась на проталинах еще сырая, но уже готовая зазеленеть трава. Но в самом городе мало было видно весны: снег там и зимой был незаметный, талый и грязный, морозов не чувствовалось так остро, — жизнь и зимой и летом была одинаково суетливая и пестрая.

В палате военно-медицинского госпиталя было светло. В открытую форточку струей вливался запах весны, и оттого было еще скучнее и невыносимее среди ровных рядов кроватей и умирающих, исхудалых людей.

Паша Афанасьев сидел у окна в госпитальный сад, где было больше зеленых заборчиков, чем деревьев, а на каждом деревце висел размокший кусочек картона с названием дерева по-русски и по-латыни. На коленях у Паши была книга, а руки, которыми он ее придерживал, были так худы и прозрачны, что на них жалко и больно было смотреть.

Лиза Чумакова, Дора Варшавская и студент Андреев сидели с ним и молчали. Было странно и неловко говорить о чем бы то ни было, потому что в коридоре ассистент профессора сказал им, что Афанасьев умрет на этой неделе, что его безвозвратно убили вечное напряжение, непривычный, непосильный труд и чуждый климат.

— Сгорел человек... жаль! — сказал доктор.

Но зато, хотя ему уже и трудно было говорить, Паша Афанасьев говорил без умолку. Этого не запрещали, так как теперь было все равно.

— Я когда прочел это, — слабым и прерывистым голосом, похожим на скрип останавливающейся небольшой машинки, говорил Паша Афанасьев и постукивал по книге худыми пальцами, — мне показалось, будто в моей комнате окно открыли: так и посветлело все вокруг! Все это серый, безрадостный тон... ведь он душу выедаёт у человека!.. А теперь — молодец!.. Каким торжествующим аккордом он заканчивает!.. Ведь это как посмотреть: ведь это не простой рассказ о том, что вот, мол, взяла девушка да и поехала учиться... Это символ глубокого значения!

Они знали, о каком рассказе он говорит, рассказ всем нравился, но всем было странно и тягостно слышать торжествующий, восторженный голос накануне смерти, не по поводу чего другого, а над книгой. И теперь, при умирающем человеке, книга казалась неинтересной и даже ненужной.

— Ах, побольше бы таких зовущих, смелых голосов! — тихим голосом, в котором слышалось огромное напряжение, мечтательно говорил Паша Афанасьев. Надо будить, надо звать... надо рассказать всем, что нет жизни там, где нет могучего, напряженного труда!.. Главное, надо, чтобы исчез свой угол, свои интересы, свои люди, чтобы были все люди, все кипело, чтобы весь мир был открыт человеку!..

— Да... только как же этого достигнуть? — неопределенно отозвался Андреев.

Паша Афанасьев сразу замолчал и непонимающим взглядом заслушавшегося чего-то человека посмотрел на него болезненно блестящими глазами. Но Андреев молчал.

— Милая Лизочка, — сказал Паша Афанасьев мягко и радостно, — я так рад, так рад, что вытащил вас из нашею болота!.. И за вас рад, и за себя... Ведь это немалая заслуга — вытащить человека, да еще такого милого, такого хорошего, как вы!.. А ведь это я вас вытащил, правда?.. Ну, не совсем я, и книги много помог ли, — он опять слабо постучал по книге, — но все-таки...

Он помолчал, напряженно о чем-то думая, и когда опять заговорил, то говорил с трудом и криво, виновато усмехаясь:

— Вот, Лизочка, если я умру... дело возможное, конечно... вам я и оставлю свое дело... Вы мое создание, в вашей милой, хорошей душе буду жить и я... Так-то, Лизочка... В какую я грустную материю впал... А помните, как вы хотели выйти замуж за того корнета, что хотел застрелиться из пушки?..

Паша Афанасьев радостно засмеялся.

— Помню, Паша... — грустно ответила Лиза, глядя ему в глаза своими добрыми выпуклыми

глазами, и принудила себя улыбнуться.

— Да... Ну, да Бог с ним!.. Мне его, знаете, под конец даже жалко стало. В сущности, не виноват же он в том, что судьба и люди сделали его пошляком. А страдал он, кажется, сильно... Да...

Паша Афанасьев опять задумчиво помолчал, и в глазах его было что-то грустное и теплое.

— Да, главное сделали, — ушли! — вдруг снова оживился он. — Что бы там ни было, а теперь перед вами... милая Лизочка!..

Паша Афанасьев захлебнулся, и что-то странное, непонятное, какой-то исступленный, нечеловеческий восторг осветил его худое, обросшее спутанными мягкими волосами лицо. Доре показалось, что он не с Лизой и не о Лизе говорит, и лицо его не в первый раз напомнило ей болезненно ярко одну картину, на которой в пламени и в дыму вздымались кверху искривленные руки ополоумевшие самосжигатели. Ей стало страшно.

Когда они поднялись уходить, Паша, ослабевший от напряжения, сказал Андрееву:

— Голубчик, возьми ты у меня там литературу, отнеси ее к Богданову... Там важное, срочное есть... Я, пожалуй, залежусь... Ну, до свиданья, мои дорогие!

Они пошли к двери, но Паша вдруг громко позвал:

— Лизочка... Лиза.

Дора и Андреев остановились в коридоре, а Лиза быстро вернулась и стала близко от него, наклонясь. Ей был слышен сухой и потный в одно и то же время запах его больного тела.

— Лизочка... — сказал Паша Афанасьев и замолчал. Глаза у него странно блестели глубоким внутренним блеском, как будто он смотрел куда-то внутрь себя. Лиза ждала, наклонившись, и почему-то боялась посмотреть на него.

— Лизочка... — повторил Паша Афанасьев еще тише, как будто боялся, что его услышат, — теперь весна... у нас, должно быть, снег тает... Лизочка... доктор сказал, что если бы я все жил на юге, я, может быть, и... поправился бы...

Из темного, широко открытого близко от Лизы глаза выплыло что-то крупное, прозрачное и расплылось по ресницам.

V

Пашу Афанасьева похоронили в серый и теплый день. В могиле была желто-мутная вода, на дорожках стоял кисель из талого снега, размокшая глина во все стороны расползлась из-под ног, и гроб, раскачивая и толкая, с трудом донесли до могилы.

— В ногу, господа, в ногу идите! — все время со страданием в голосе приговаривал один из несших студентов, с которого углом гроба все сбивало фуражку и резало плечо.

Глина быстро шлепалась, сначала резко и звучно на крышку гроба, а потом мягко и приятно в черно-желтый кисель. Холмик слепили кое-как, и он тотчас же расплылся.

Студенты и курсистки, странно чернея в белом пустынном месте, молча стояли и не расходились.

— Ларионов, речь... скажи! — подталкивал один другого, и по его вспотевшему и красному от усилий лицу было видно, что ему странно уйти отсюда так, просто, как он уходил от всякого другого вполне законченного дела.

— Нет... что ж... — дергал плечом Ларионов.

Молоденький, красивый студент, с восторженным и неумным лицом, вдруг выступил одним плечом вперед, взмахнул фуражкой над своей курчавой головой и, глядя поверх крестов и памятников, нутряным дрожащим голосом произнес:

— Даром ничто не дается... судьба жертв искупительных просит!..

И весь налившись кровью, торжественно и скромно замолчал. Стало опять тихо и, несмотря на кучку людей, пусто. Вороны низко пролетали куда-то над талым, мокрым снегом. Было невыносимо грустно.

— Что ж... пойдём... — сказала Дора Лизе. Лиза покосилась на могилу страшно заплаканными серыми глазами, в которых было горе и какое-то растерянное выражение, и ответила густым красивым шепотом:

— Пойдем...

Вороны обратно пролетели над крестами, и одна каркнула:

— Крр!..

Сейчас же за унылыми воротами кладбища Дора и Лиза сели в конку и долго ехали по бесконечной, широкой и все-таки темной улице, мимо совершенно однообразных, как одна сплошная стена, домов. Дорогой все мужчины в конке посматривали на красивую, полную Лизу, и, как всегда, она этого не замечала, а Дора видела и почему-то сердилась, хотя и скрывала от самой себя это раздражение. Когда они встали с конки и пошли к квартире Доры, она вздохнула и сказала:

— Ну, вот и похоронили... — и передернув плечами, точно от холода, прибавила: — Как же это все просто... ужасно просто!

Крупные слезы сейчас же покатались по лицу Лизы.

— Бедный, бедный Паша! — тихо сказала она.

— Что ж, зайдешь? — спросила Дора под мрачными, похожими на погреб, воротами.

— Не знаю, право... зайду... — почему-то виновато ответила Лиза и вздохнула.

Они вошли в ворота, прошли наискось похожий на обледенелую помойную яму дворик и по лестнице, на которой скверно пахло помоями и котами, полезли в четвертый этаж. Маленькие, короткие лестницы мелькали и поворачивались из стороны в сторону с бесконечно утомительным однообразием. У Доры по обыкновению сильно билось сердце и стучало во вспотевших висках. В тесной темной передней, где еще хуже пахло — жареным луком и мокрыми тряпками, они разделись и вошли одна за другою в комнату Доры.

Это была маленькая, полутемная комната с ограниченной и унылой мебелью. По сырости на стенах и по тонкому запаху пустоты и холода чувствовалось, что сюда никогда не заглядывает солнце, и была она так мрачна и темна, что странно было, что в ней живет такое молодое и нежное существо.

Лиза села на узенькую кровать, красиво обтянув полные круглые колени серой юбкой, а Дора

машинально остановилась у стола и, ничего не видя, стала смотреть в мутное, бело-серое окно, в которое глядели ряды таких же мутных и слепых окон.

Эти три дня они были так возбуждены и заняты, столько было вокруг грустных и озабоченных разговоров, беготни, хлопот и сборов, столько вокруг пели, кадили, столько зажигали среди белого дня свечей, столько плакали, что теперь им было как-то странно и даже неприятно, что все снова так тихо, что надо спокойно сесть, обедать, спать, заниматься или делать другое какое простое повседневное дело. У обеих было нервное, тоскливое чувство.

— Послезавтра анатомия... — медленно и тоскливо, думая о другом, протянула Лиза. Дора молчала.

— Скоро конец экзаменам... — проговорила опять Лиза, и видно было, что ей просто хочется прервать свою собственную невыносимую грусть.

— Я вчера из дому письмо получила... — продолжала она.

— Да? — машинально переспросила Дора.

— Да... Мама пишет, что у них теперь весна в полном разгаре... Тепло, и дни стоят хорошие.

Лиза вздохнула и замолчала. Ей захотелось сказать, что ее тянет домой, на зеленую траву, в тепло, к простой тихой спокойной жизни, что ей все надоело здесь. Но какой-то страх перед Дорой, перед самой собой не давал ей высказать этого.

«Это малодушие... — подумала она, — слабость... надо бороться...»

Дора все молчала.

Вчера бестужевки заявили Вязникову протест против безобразного поступка... — продолжала монотонно тягучим голосом Лиза.

— Ну? — отозвалась Дора.

— Ну, и ничего...

Дора вдруг быстро подошла к ней, сжала руки и придушенным, напряженным голосом сказала:

— Ах, Лиза, Лизочка!.. Скучно, скверно... Это все не то... не то...

Лиза сейчас же почувствовала слезы на глазах, и ей бесконечно стало жаль Дору. И как будто в этом было именно то, что ей нужно, она моментально забыла о себе. Чувствовалось какое-то сильное материнское движение в ее жесте, когда она обняла Дору за худенькую талию обеими полными мягкими руками и притянула к себе.

— Ничего, Дорочка... милая... — сказала она, целуя ее в волосы и щеку.

— Самовар подавать? — хрипло и угрюмо спросила их из-за двери хозяйка.

Дора вздрогнула. Лиза ответила деловитым тоном:

— Подавайте!

Толстая и грязная мещанка, ненавидевшая курсисток за то, что они жили лучшею жизнью, чем она, а она должна была за пятнадцать рублей терпеть их в своей квартире, хмуро внесла грязный, позеленевший самовар с кривой камфоркой.

— Булок надо? — с озлобленным презрением спросила она, ни на кого не глядя.

— Нет! — торопливо ответила Дора.

И Лиза, и Дора всегда стеснялись и боялись ее, хотя и не признавались в этом и самим себе. Им было страшно и больно от этой бессмысленной холодной злобы чужого человека, к которой они не были приспособлены, с которой не умели бороться. В ее присутствии им было тяжело и трудно, и когда они встречались с нею в коридоре, всегда старались незаметно проскользнуть. Это было унизительно и непонятно, чуждо их молодым, целомудренно простым душам, бессознательно тянущимся только к любви, ласке и всеобщей приветливости.

Хозяйка зорко и с явным желанием придраться оглядела комнату, сердито схватила таз, в котором было чуть-чуть грязной воды, и каким-то рывком вынесла его вон, что-то ворча и хлопая дверьми.

Лиза и Дора долго сидели молча. В тихой душе Лизы, как волны, подымались то острое горе о Паше, то тупое чувство растерянности и недоумения. Совершенно непонятно и странно казалось ей, что Паши уже нет и никогда не будет, а все останется в ее жизни по-прежнему. Было похоже, как будто из ее жизни вынесли какой-то свет и она стала темной и пустой.

Дора тихо задвигалась по комнате, приготовила чай и опять затихла, напряженно думая о чем-то своем, неизвестном Лизе. Самовар жалобно пел унылыми приниженными нотками. Лиза опять заплакала тихо и незаметно.

Через час пришли студенты — Ларионов и Андреев, и толстый близорукий Ларионов сейчас же стал говорить о Паше Афанасьеве.

— По-моему, это был какой-то совсем особенный, чудный человек, говорил он грустно-восторженным голосом, глядя на всех поверх пенсне. — В нем была какая-то огромная сила... и как-то не верится, что она могла так легко умереть... И главное, была у него способность на других действовать... Мне так и кажется, что теперь наше дело должно само собой прекратиться...

— Не прекратится! — качнул головой Андреев...

— Ну, да...

— В сущности говоря, Афанасьев плохой был делец.

— Делец-то он был плохой... — согласился Ларионов. — Но он умел как-то зажигать... И ведь вот такая штука: я очень хорошо всегда понимал, что все это не так уж великолепно, и что спрости самого Афанасьева, что, собственно, надо делать, он и сам не ответил бы... или ответил бы фразой, но в нем самом всегда что-то такое горело... и это увлекало... Понимаете?.. И видишь, что все это не так, а тянет... а?

Ларионов недоуменными глазами оглядел всех.

— Слабый ты человек и больше ничего! — грубовато возразил Андреев, закусив один ус.

— Может быть... — весь дергаясь от внезапного волнения, согласился Ларионов. — Знаете... я, собственно, не о том хотел поговорить... Что-то мне последнее время скверно... Так, размечтаешься, считаешь что-нибудь такое... или вот послушаешь Афанасьева, и ничего... начинает даже рисоваться что-то большое и смелое... Бодрость такую почувствуешь в себе опять!.. А потом сейчас же приходят в голову другие мысли, и опять на душе скверно... Да... Ларионов помолчал.



— Вот на первом... на втором даже курсе совсем как-то иначе было... Тогда все занимало... В театр пойдешь хорошо, на сходке кричать хорошо... За книги засядешь — хорошо... И всегда так весело, славно...

— Чего лучше! насмешливо отозвался Андреев.

— Ну, да... А потом вдруг стал думать: ну, ладно, учусь я... так... Но ведь дело-то не в самом же учении? Ведь не собираюсь я посвятить всю жизнь одной науке... как таковой... Дело в том, для чего все это делается, так?... Ну, вот, когда я спросил себя, для чего? У меня никакого ответа не получилось.

— Как же это так? — поднимая голову, спросила Дора.

— Да вот так... Никакого!.. Знаете, я даже старался придумать... то есть просто надуть себя, но ничего не придумал!.. Вы только послушайте...

Ларионов вскочил и развел руками, точно чему-то испуганно удивился. Пенсне не держалось на его коротком носу, и он ежеминутно поправлял его.

— Ну, я, знаете, говорю себе так: для служения народу... Хорош-ш-о, так... Это говорят всегда очень уверенно и громко... это даже очень легко сказать... Но возможно ли вообще служить народу, — этого в сущности никто не знает!.. Вот, видите ли, какая штука: я, например, медик и, следовательно, должен быть доктором и лечить больных... Так?

Он остановился, вопросительно глядя поверх пенсне.

— Допустим... — шутливо, благосклонным тоном согласился Андреев.

— Нет, ты не шути, я серьезно говорю! — обиделся Ларионов.

— Да я не шучу! — тем же тоном возразил Андреев.

Ларионов с минуту недоуменно смотрел на него, потом добродушно махнул рукой.

— Ну, хорошо... Так вот какая штука: буду я доктором и буду лечить больных... Если бы я был какой-нибудь особо даровитый человек, я обогатил бы науку открытиями...

— Где тебе! — презрительно подсказал Андреев.

— И действительно, где же мне! — покорно и совершенно серьезно согласился Ларионов. — Ну, значит, буду я лечить больных... Хорошо... Многих я вылечу, многих не вылечу и главным образом не потому, что болезнь сильнее науки, а потому, что много болезней происходит от таких причин, которые вообще... как это называется?..

Ларионов пощелкал пальцами.

— Валяй: по независимым обстоятельствам! — иронически, серьезно подсказал Андреев.

— Ну, да... пусть... Так вот, видите, какая штука: буду я лечить одного, другого, третьего, сотого, без конца... всю жизнь буду лечить всяких людей, и хороших, которым искренно, положим, желаю добра, и тех, которых считаю вредными... сволочь всякую... Я не могу их не лечить, потому что и они страдают и имеют право на помощь... вот какая штука!..

— Ну, это положим!.. — возразил Андреев.

— Нет, не положим... Ты сам меня первый подлецом назовешь, если я не пойду к больному, а начну справляться, кто он, да что он...

— Конечно... — поддержала Дора.

— Ну, вот! — обрадовался Ларионов. — Значит, надо безразлично смотреть на больных, только как на больных... так?.. Знаете, казалось бы, что это очень хорошо, человеколюбиво и прочее... а на самом деле это — отсутствие живой, сознательной любви, и только... Какая-то чепуха!..

— Да, — оживленно отозвалась Дора, радуясь, что ей пришла в голову удачная мысль, — я сама думала об этом: выходит же так, что я одних лечу потому, что жизнь устроена скверно, а сама же вылечиваю тех, которые создали и поддерживают это зло!..

— Совершенно верно! — закусив усы, усмехнулся Андреев.

— Ну, вот видите, какая штука!.. Значит, я просто буду врачом по ремеслу, ремесленником, и между мною и людьми не будет никакой сознательной связи. Я, знаете, на днях внимательно прочел биографию Гааза и вижу, что все это чепуха!.. Столько же пользы, сколько и вреда!.. Да... Потом, я как-то чуть не попал в заговор, мне уже даже револьвер дали... Браунинга, что ли... черный такой, тяжелый... Ну, я, было, и подумал: вот оно!.. начинается настоящее дело!.. А потом вижу, что и это не то... Надо убивать, а потом и тебя самого повесят... Значит, такая штука: я убью, скажем, человека, которому хочется жить, потом убьют меня, — мне тоже хочется жить!.. И то, и другое совсем неприятно: смерть, а не жизнь... Форменное несчастье и только!..

Ларионов высоко поднял толстые, как у женщины, плечи, и его близорукое, доброе лицо выразило отчаяние.

— Тут у меня в душе пошла такая разладица, что я чуть не удавился!.. С одной стороны, дело большое, несомненно важное, а с другой стороны — с какой стати? Кто смеет требовать от меня моей жизни и... чтобы я сделался убийцей?.. И... и... я, кажется, скоро совсем перестану понимать, в чем тут дело!.. Вот, ведь какая штука... что хорошего ни придумаешь, для всего требуется либо жертва, либо самопожертвование!.. И... и вообще... Я не могу объяснить всего, но... Когда я начал, то думал, что легко высказаться, а теперь вижу, что не выходит... Ну, да вы поймете...

В комнате было жарко и душно. Лампа горела уныло, освещая небольшой круг, в котором желтели стаканы с жидким чаем и тускло блестели ложечки. Над лампой ходил синий табачный дым, и было трудно дышать в нем. Хотелось открыть форточку, но почему-то никто не догадывался сделать это. Ларионов молчал и вопросительно глядел на всех поверх пенсне, и на его круглом потном лице было написано страдание и недоумение. Дора положила подбородок на подставленные руки и задумалась, глядя на огонь лампы. Андреев дергал и крутил усы, а Лиза сидела на кровати и ее не было ни слышно, ни видно. Ей было до слез жаль Ларионова и хотелось приласкать его как мальчика и утешить, но она не умела ничего сказать и молчала.

— Да, жизнь сложная... тяжелая штука! — задумчиво проговорила Дора.

Ларионов быстро сел и испуганно посмотрел на нее.

— И удивительно же, — продолжала Дора медленно и раздумчиво: — всего какой-нибудь год... меньше, полгода всего тому назад, ехала же я сюда с таким восторгом! И, главное, что представляла я себе именно то, что и нашла... Все это тут и есть: газеты и наука, и сходки, и театры... все то, о чем я всегда слышала и читала. И вот все-таки, полгода прошло, а у меня в душе одна пустота и все надоело, опротивело! Так иногда все противно, что я, кажется, скоро Паше Афанасьеву завидовать начну...

Она замолчала, и стало совсем тихо. За стеной вдруг слышались голоса и звон посуды.

— Я иногда припоминаю теперь, как я два года занималась в одной школе и каким бедным и невыносимо скучным казалось мне тогда все... Деревня такая серая, мужики пьяницы, ребятишки глупые... существование мое такое же серенькое, глупое... А «там», думаю себе, где-то идет жизнь!.. А теперь все это кажется мне иногда таким милым... до слез!.. И деревня, и лесок березовый, в который я каждый день от скуки ходила гулять, и ребятишки... особенно один... мальчуган там был... И не понимаю себя, как это я могла обнимать березы и плакать от тоски?.. Ну, начинаю думать, может быть, я себе ошибалась и надо ехать назад, жить, как жила? Нет же!.. Опять становится скучно... и не то, что скучно, а обидно же: неужели так и прозябать там всю жизнь?

Лиза глубоко вздохнула в своем уголке.

— Ну, хорошо!.. — сказал Андреев, кусая усы. — Что же, собственно, вы воображали, когда ехали сюда?.. Чего вам хотелось?

Как чего! — удивилась Дора. — Жизни... только! — добавила она с иронией.

Андреев сердито дернул себя за усы.

— Жизни!.. Что такое жизнь, скажите мне, пожалуйста?.. Дай папиросу, Ларионов!

— Ну, это понятно! — скривив губы, протянула Дора.

— Нет, вы скажите... В чем эта жизнь: в том, чтобы ходить в театр, на лекции... учиться, заниматься политикой... ну?

— Ну, да... и в этом, конечно...

— Но все это у вас есть, чего же вам еще не хватает?

— Я сама не знаю этого, но чувствую, что чего-то самого главного не хватает.

— Я вам скажу, чего вам всем не хватает! — решительно сказал Андреев.

— Ну, ну... это любопытно! — насмехаясь, проговорила Дора, и в ее темных глазах мелькнуло злое выражение. Ей было досадно и неприятно, что Андреев может думать, что он знает что-то такое, чего не знает она, Дора.

— Не хватает у вас любви и уважения к самим себе.

— Это же из чего видно? — тем же голосом и краснея, спросила Дора.

— Это видно из того, что та жизнь, к которой вы способны, которая доставляет вам удовольствие, всегда кажется вам ничтожною... в ней вы томитесь и хотите быть выше себя!

— Странно, право! — обиженно и возмущенно фыркнула Дора.

— Нет, что ж... это, в сущности, правда... — заметил Ларионов.

— Еще бы не правда! — пожал плечами Андреев. — Как вас воспитывали?.. Вы привыкли с раннего детства считать одну жизнь хорошей и гордой, а другую скверной и ничтожной... Быть писателем, артистом или, положим, политическим деятелем — это прекрасно, а быть, например, деревенским учителем, мужиком, рабочим — унижительно...

— Что ты говоришь, что ты говоришь, — в ужасе закричал Ларионов.

— Оставь, пожалуйста!.. — с досадой отмахнулся Андреев. — Я правду говорю. Вы ведь порядочные иезуиты: вы всегда готовы преклоняться перед святым трудом рабочего,

учителя, крестьянина и прочее, а если вас завтра судьба заставит выгребные ямы чистить, камень да глину драть, ребятишек сопливых учить азбуке, так вы в такую меланхолию впадете, что вам свет с овчинку покажется и стыдно будет со знакомым встретиться!.. А почему?.. Потому, что в вас гордости нет, нет любви и уважения к самому себе... Вы не можете верить в то, что не жизнь красит вас, а вы жизнь! что всякая жизнь интересна и важна для вас только постольку, поскольку она — ваша!

— Ну, что ж это! — с негодованием закричал Ларионов, дергаясь, как паяц.

— Я мужик! — не слушая, громовым голосом кричал Андреев, любуясь своими словами и их выражением и сжимая кулак. — Я с детства жил сам, своим трудом и жизнь видел не в книжках только!.. Я всю жизнь своим горбом хлеб зарабатывал и привык думать, что для меня я сам — все... что мне все равно, какое я место занимаю в рядах других людей, черт с ними со всеми, когда мне сытно и весело!.. И потому я люблю себя и знаю, чего мне нужно... делаю только то, что мне нравится. А вы пристраиваетесь к чужим взглядам, к чужим способностям и... сами не знаете, чего вам нужно, что вы можете! Ты вот рассказывал так: «Я „чуть“ в заговор не попал... мне „дали“ револьвер!» передразнил Андреев. И в заговор вы попадете случайно, потому что другие попадают, и в жизнь идете только потому, что другие говорят, что это хорошо!.. Нет, если я в заговор пойду, так потому, что мне это нужно и приятно будет — мне самому!.. Я тогда и умру без антимонии и другого убью не поморщусь!.. Вот!

Андреев замолчал и взволнованно дергал себя за усы.

— Как это все чересчур уж просто! — проговорила Дора сердито.

— А вам непременно хочется, чтобы было сложно? — с озлобленной насмешкой спросил Андреев. — В том-то и горе ваше, что вы дети того времени, когда человек был так глуп и жалок, что тяготился своей простой и красивой, жизнью, и думал, что его долг уважать и любить все, что угодно, кроме самого себя. Эх, вы, путаные люди!.. Путали вы, путали и запутались окончательно... Чего вы только не придумали, чего только не намудрили над собой!.. Тут у вас и Христос, и родина, и человечество, и ближний, и дальний... идеализм, и марксизм, и прочее... С одной стороны, все это прекрасно, а с другой — где же вы сами?.. Где ваша собственная свободная, индивидуальная жизнь?.. Места вам как будто бы и не осталось... то есть осталось, но какое... чисто жертвенное!..

— Да постой! — перебил Ларионов, теряя пенсне и ныряя за ним под стол.

— Да чего там, постой! — рванул головой Андреев. — Конечно, так. Теперь, по-моему, поворотное время настало... Пройдет десять, двадцать лет и вас будут как уродцев рассматривать... Как это, мол, могли жить такие несамостоятельные, робкие, трусливые людишки!..

— В чем же, скажите, пожалуйста, — насмешливо спросила Дора, заключается это ваше умение любить себя?

— В чем?.. В том, чтобы любить себя всего, как есть я — человек из плоти, крови и духа равно!.. Любить свое существование, свое тело, свои наслаждения, свою самостоятельность, свое настоящее, не фальшивое, подкрашенное и подстроенное миропонимание... вот!

— Да ведь этак каждый лавочник себя любит! — сказал Ларионов.

— Нет, лавочник не так любит... Лавочник — несчастный человек: он совершенно не умеет любить себя... он окружает свою жизнь самыми неестественными условиями, всю жизнь пресмыкается, боится, не видит за заботами, как бы жить, как все, ни солнца, ни радости общения с природой и людьми, как людьми... не понимает ничего изящного, красивого;

наполняет свое существование самыми уродливыми, грязными, грубыми деяниями... Он сам не видит этого, он даже воображает, что любит себя; но вся жизнь его — сплошное страдание, и смерть у него неудовлетворенная, глупая... Он не умеет любить себя... как и вы... Вот!

Андреев неожиданно встал и взялся за фуражку.

— До свиданья! Пора домой... Уже двенадцатый час.

— Нет, ты вот что скажи...

— Ничего я тебе не скажу... пошел ты к черту, дурья голова! Если не понимаешь сам, так этого не втолкуешь!.. Все равно будешь пичкаться всю жизнь всякой трухой...

Студенты ушли. В комнате стало тихо, и опять слышно было, как за стеной говорят.

— Ну, и философия! — с иронией сказала Дора и встала. — Значит же, назад... к первобытному состоянию!..

Лиза вздохнула и потянулась. И опять острое воспоминание о Паше Афанасьеве защемило у нее в сердце.

Ночью она шла домой по пустым мокрым улицам, в мокрых камнях которых дрожали и искрились отблески фонарей. Черная свободно-мрачная широкая река шла под мостом и уплывала в черную даль, сливаясь с черным небом. Огромный темный купол, отражая зарево огней, в невероятном просторе уходил над головой. Дул с моря упругий сырой ветер и влажную волной ударял в лицо. Где-то далеко глухо и предостерегающе бухала пушка.

— Бух... бух!..

Лиза серьезно и строго посмотрела на реку, и что-то заныло и затосковало в ее сердце и потянуло за упругим ветром куда-то вдаль — в простор, мрак и ветер, откуда ясно слышался сырой и торжественный запах весны.

## VI

Лиза приехала домой.

Опять была весна, но уже не было Паши Афанасьева, и когда Лиза в первый же вечер пошла в сад и стала у забора, тихая грусть охватила ее. Казалось, где-то здесь еще слышатся слова Паши, его страстный и слабый голос, и было невозможно ясно представить себе, что его нет, совершенно нет нигде, на всем свете.

Не было в городе и Доры Варшавской: она осталась в Петербурге, поступив на лето для заработка в какую-то контору по хранению мебели.

Дома все были рады Лизе, и больше всех был рад корнет Савинов. Он прибежал в тот же вечер, запыхавшись и блестя глазами, и целый вечер молчал, не спуская с Лизы наивно восторженного взгляда. Ей было радостно и приятно видеть его, но по обыкновению она смотрела на корнета строго и серьезно.

После ужина пошли гулять. В душе Лизы была какая-то радостная истома, и не терпелось сейчас же пойти по знакомым улицам, мимо старых, знакомых домов, церквей, заборов и

садов.

Ночь была безлунная, темная, и после белесых весенних петербургских ночей Лизе казалось темно, как в погребу.

Она с Савиновым шла впереди, а Павел Иванович шагал сзади с Ольгой Петровной.

— Ты не простудишься, Павел Иванович? — спрашивала по обыкновению Ольга Петровна, и Лиза слышала этот, с давних пор знакомый вопрос, ждала знакомого ответа, и ей было до слез весело и смешно.

— Чего ради я буду простуживаться?.. Не понимаю, право! — сердито недоумевал Павел Иванович.

Воздух был густой, как мед, и с каждым вздохом, казалось, в грудь входило что-то могучее, сладкое, полное жизни и доходило до самого сердца.

— Ах, как хорошо... прелесть, как хорошо! — повторяла Лиза.

Восторг и робкая надежда расцветали в груди корнета.

— Чудная ночь! — немного в нос сказал он.

И Лизе показалось, что он прекрасно выразил именно то, что нужно.

Тишина на улицах была полная, и звезды беззвучно мигали в недостижимой высоте.

А со следующего дня жизнь пошла простая, спокойная и солнечная. День проходил за днем радостно и мирно, а когда в голову приходило воспоминание о Петербурге и о том, что лею пройдет, Лизе становилось тяжело и тоскливо.

Уже в июле, когда после жарких и сухих дней наступили удивительные истомные ночи и сад блестел фосфорическими огоньками светляков, а небо роями бриллиантовых звезд, Лиза с корнетом поехали кататься на лодке.

Корнет сидел на веслах, а Лиза на руле. От одного берега до другого ровно колыхалась темная глубокая вода, и в ней отражались и качались звезды. На берегу стоял темный и задумчивый лес, полный мрака и теплого, влажного дыхания.

— Ах, Лизавета Павловна... если бы вы знали, как я скучал по вас!.. Сто раз думал: застрелюсь, и кончено... А потом думаю: вот придет лето, Лизавета Павловна приедет, а меня не будет, и я ее никогда больше не увижу... Так и не застрелился... — тихо говорил корнет.

— Так и не застрелились!.. — повторила Лиза и смеялась чисто, звонко и стыдливо-счастливо.

— Чудная ночь! — повторял корнет в нос, не спуская глаз с расплывающегося во мраке мягкого и изящного силуэта Лизы.

А ей бессознательно хотелось быть еще изящнее, еще привлекательнее, и каждое движение, которое она делала, было полно милой прелести, и каждый звук голоса — нежности и красоты.

У одного островка они высадились и пошли в лес, прижавшись друг к другу. Под деревьями было совсем темно и пахло сыростью и влажными мягкими травами. Со всех сторон тихо светились слабые огоньки светляков, в полной тишине и тайне, казалось, делавших в траве

какое-то свое важное, углубленное дело.

Они остановились на лужайке и смотрели вверх на клочок далекого темного неба со звездами и на обступивший их темный таинственный лес. И что-то жаркое и властное тянуло их друг к другу. Чуть заметно, робко и стыдливо вздрогнула рука Лизы, и плечо, круглое, теплое и мягкое, прижалось к плечу корнета. Жар и холод охватили большое мускулистое тело корнета; одну секунду он чуть не схватил Лизу за круглые мягкие плечи, чтобы всем вздрагивающим и млеющим телом прижаться к ней и прижать ее к себе, раздавить и подчинить властной ласке, но он не посмел и, скользнув вниз, опустился коленями в мокрую траву и прижался головой и губами к ее руке, нежной и маленькой, с беспомощными, слабыми пальцами.

— Идемте... — вздрагивая и путаясь, проговорила Лиза. — Идемте!.. повторила она серьезно и строго, как всегда, но в голосе ее было что-то сладкое, как песня, и нежное.

Корнет встал, покорно подал ей руку, и они пошли.

Лес молчал, и светляки тихо светились в траве, и было тяжело дышать от счастливого, проникающего во все тело, бесконечного сладкого напряжения.

Всю дорогу они молчали и боялись смотреть друг на друга; но стыдливые, счастливые улыбки не сходили с их лиц, и между ними все время чувствовалась какая-то таинственная счастливая связь.

Дома Лиза долго и странно-серьезно смотрела на себя в зеркало и, раздеваясь, все движения делала медленно и лениво. А корнет, придя домой, кинулся головой в подушку и замер.

— Какая чудная ночь... какая чудная ночь! — вертелось у него в голове, и все богатырское тело дрожало и млело от счастья.

## VII

Дня через три после этого вечера Лиза получила письмо от Доры Варшавской.

«Дорогая Лизочка! — писала Дора неаккуратно и размашисто. — Если бы ты знала, как скучно и скверно на душе! Проклятая контора вымотала из меня всю душу. В городе пустота и скука, жара... Ларионов уехал, и теперь я совсем, совсем одна. Прежде хоть он, бывало, ходил ко мне, — все не так было скучно. А воображаю, как ты там веселишься!.. Твой корнет опять возле тебя... Катаетесь, конечно, в лунные ночи на лодке, гуляете в темных аллеях задумчивого сада... Воображаю, какая прелесть! Хоть замуж-то, Бога для, не выйди! А, впрочем, это твое дело... Ты не сердись на меня, но у тебя порядочная-таки склонность к мещанскому счастью, — это еще Паша Афанасьев замечал. Что ж, может быть, это и к лучшему: выйдешь замуж за своего корнета, народишь дюжину младенцев и будешь себе счастлива и долголетна на земле!.. Ну, пока, до свиданья! Твоя Дора Б... Лизочка, прости меня! Я злая, скверная... Сейчас перечитала это письмо и вижу, какое оно подлое и злое. Но я все-таки пошлю его, чтобы ты знала, какая я дрянь. Но я такая бедненькая сиротинка! Так мне скучно, тошно все!.. Такая я несчастная, что ты не будешь сердиться и простишь свою бедную Дору».

Лиза серьезно прочла это письмо два раза, сделала строгое лицо и тихо пошла в сад, где светило солнце и чирикали воробьи. Она медленно прошла через всю аллею и пришла к тому

месту, где в прошлом году был перелаз в сад Афанасьевых. Там она долго стояла и, неподвижно глядя на серый полуразвалившийся плетень, о чем-то думала. Солнечные пятна шевелились на дорожке и на ее сером платье, а над головой тихо шелестели зеленые листья. Опять ей послышалось, что где-то тут, в прозрачном воздухе, неслышимые, но ясно звучат слова покойного Паши Афанасьева, как будто они навеки остались и живут тут одинокие, тихие и печальные, трогая в сердце невыразимо нежные и грустные струны. Стало больно, — и Лиза тихо заплакала. Слезы медленно выступали на светлых глазах и расплывались, а в них расплывались в неопределенно зеленые пятна и плетень, и листья, и трава, и голубое небо.

Идя назад, она наткнулась на Василису, которая за зиму растолстела, покраснелась и теперь вольно и грубо шутила с краснорожим плотоядным кучером Семеном. Лизе показалось, что от них пахнет салом, и ей стало противно. Она ушла, строго глядя себе под ноги.

Вечером, как всегда, пришел корнет. Должно быть, он чуял что-то, потому что с его красивого добродушного пустого лица не сходило робкое выражение. Лиза была холодна, сурова и молчалива.

Когда они остались одни, корнет робко спросил:

— Лизавета Павловна... что с вами?

Лиза холодно посмотрела на него.

— Со мной?... Ничего... — строго ответила она.

Корнет уныло помолчал, и сердце у него сжалось тоской.

— Но я вижу, что вы... Лизавета Павловна...

Лиза опять посмотрела на него, потом вдруг вытащила из кармана письмо Доры и подала ему:

— Что это? — испуганно спросил корнет.

Лиза не ответила и пошла в сад.

Корнет остался на месте, долго и оторопело смотрел ей вслед, а потом стыдливо развернул письмо и прочел. Сначала он весь покраснел и тяжело задышал, так что на него страшно было смотреть, и в первую секунду казалось, что он порвет письмо в клочки, бросится на кого попало, закричит. Но тот обожательный страх, который он всегда питал к Лизе, смирил его. Он сконфуженно оглянулся по сторонам, аккуратно сложил письмо и пошел за Лизой, звонко гремя шпорами и сам пугаясь этого звука.

Лиза стояла у калитки и смотрела на улицу, по которой с пылью и дребезжащим блеянием проходило стадо.

— Лизавета Павловна!.. — тихо позвал он.

Лиза обернулась и серьезно уставилась ему в глаза. Корнет потупился и почувствовал, что все пропало, что то огромное и светлое счастье, приближение которою с таким восторгом он чувствовал, погибло и безвозвратно ушло куда-то далеко-далеко. Холод и мрак обняли его душу.

— Я не понимаю, Лизавета Павловна... — начал он упавшим, унылым голосом.



— Не понимаете? — со странным выражением переспросила Лиза, и лицо ее исказилось.

— Я сама ничего не понимаю... оставьте меня, оставьте! — вдруг истерически закричала она и бросилась бежать от него к дому, путаясь в длинной серой юбке и размахивая мягкой косой, колотившейся по плечам.

Корнет не спал всю ночь и все ходил из угла в угол по комнате. На столе горела свеча, было пусто и неуютно в голой комнате, и уродливо-огромная черная тень кривлялась на потолке и стенах вслед за корнетом. Часов в двенадцать он сел и написал прошение о переводе и об отпуске, а потом встал, подошел к своей шинели, висевшей в углу на гвоздике, хотел было вынуть из кармана револьвер, но вместо того отчаянно ударился головой о шинель и несколько раз произнес тихо и внятно:

— Лиза... Лиза... Лизочка!..

## VIII

В половине февраля была оттепель и болезненно чувствительно напоминала весну запахом талого снега, темным сырым небом и оживленно резким стуком колес по обнажившейся местами мостовой.

Лиза и студент Корнев, высокий черноволосый и смуглый человек, со жгучими черными глазами и горбатым носом, шли к нему на квартиру. На Корневе была студенческая шинель нараспашку, шапка сидела у него на самом курчавом затылке, и крепкий, звучный голос заглушал стук колес и шум воды, бежавшей через тротуары из труб.

— Я не понимаю вас, Лиза... — говорил Корнев, сверкая глазами, как злое и хищное животное. — Если вы любите меня, а я знаю, что любите, то какой смысл уродовать свое счастье и вам, и мне?.. Надо брать от жизни все, что она может дать!.. Я не люблю трусости, половинчатости и нерешительности!..

Лиза молча смотрела себе под ноги и чувствовала, как странно, сладко и страшно дрожат у нее ноги и руки и как щемит в груди. То ухо, которое видел Корнев, маленькое и красивое, алело у нее, как нежный густо-розовый цветок.

В комнате Корнева она не раздевалась и стояла у стола, распространяя от своей черной гладкой кофточки запах свежести и холода, пока хозяйка Корнева не внесла самовар и не ушла, любопытно оглядев ее с ног до головы.

Корнев, видимо, был возбужден, и глаза у него горели темным решительным блеском. Он был очень красив, и все движения его приобрели властный и дерзкий оттенок.

— Раздевайтесь же, Лиза! — сказал он, заперев дверь, и подошел к ней.

Лиза быстро взглянула на него, и тот страх, безотчетный, полудетский, который она всегда испытывала перед ним с самого начала знакомства, отразился на ее побледневшем, но по-прежнему серьезном лице.

— Ну, раздевайтесь же! — повторил Корнев и, протянув вздрагивающие руки, стал сам расстегивать ее кофточку.

— Я сама... — тихо проговорила Лиза... Она отколола шапочку и села к столу.

— Нет, что же вы... раздевайтесь! — возразил Коренев.

Она послушно встала и начала снимать кофточку, Коренев стал ей помогать и вдруг быстро и грубо обнял ее, швырнул кофточку на пол и, подняв Лизу на воздух, одним движением повернул так, что коса ее мягко ударила его по лицу, и опустил на кровать.

У Лизы закружилась голова; страх и отчаяние, как при падении во сне в страшную пропасть, охватили ее; она сделала слабое усилие вырваться, изогнулась на подушке, и вдруг затихла и закрыла глаза. И все поплыло вокруг в жгучем и страшном хаосе страдания и наслаждения.

Она встала тихо и, не глядя на Коренева, прекрасная и жалкая в своем сером измятом платье, с рассыпавшимися волосами и опущенной головой. Коренев дышал тяжело и редко. Глаза у него блестели и ноздри раздувались восторгом и силой. Станный теплый запах окутывал их, и вся комната, казалось, тонула в каком-то горячем, сладострастном тумане.

Лиза ушла поздно. В коридоре было темно, и она старалась пройти его неслышно и незаметно. Но из двери хозяйки падала полоса света, и тощая, худая чиновница вышла на порог.

— Затворяйте, пожалуйста, дверь! — скрипучим голосом, в котором слышались презрение и насмешка, сказала она.

На лестнице Лиза остановилась, упала грудью на перила, твердые и холодные, и замерла, закрыв глаза. Перила вдавливались в упругую, небольшую грудь... Было холодно и пусто. Кто-то хлопнул внизу дверью, и стук гулко пронесся по всем этажам. И представилось Лизе, что она маленькая-маленькая, несчастная и униженная, и что во всем свете она одна. В голове ее мелькнул образ Коренева, странно светлый и яркий, точно в каком-то ореоле, и погас бессильно в ее потемневшей и опустевшей душе.

## IX

Почти каждый день к Доре и Лизе, жившим теперь в одной комнате, приходили Ларионов и Андреев и целыми вечерами постоянно спорили об одном и том же.

— Я понимаю теперь, — разводя руками, вскакивая и глядя поверх пенсне, говорил толстый белобрысый Ларионов, — теперь время борьбы для борьбы, — вот какая штука!.. Прежде на борьбу смотрели, как на долг или как на печальную необходимость, понимаете?.. А теперь находят наслаждение в самом факте борьбы... наслаждение чисто животное, эгоистическое, для самого себя, вот в чем штука!..

— Верно! — одобрительно соглашался Андреев.

— Ну, да... Только это очень просто, этак всякий обратится в зверя!..

— Нет, брат, врешь! — усмехнулся Андреев. — Это надо уметь... Зверем, как ты говоришь, таким зверем, как я понимаю, надо или родиться, или с детства воспитаться!.. А то будешь просто скотиной и больше ничего!

Лиза внимательно слушала их, сидя в углу кровати, и представляла себе Коренева таким, каким не раз после того вечера он приходил к ней в отсутствие Доры. В первый раз она почувствовала к нему какую-то нежную жалость и хотела приласкать его, прижаться к нему и сказать что-то хорошее, нежное, со слезами на глазах. Но он был требователен, весел и жесток, смеялся и ласкал ее так, что после его ухода у нее болело все тело и целый день она

была слаба и нездорова. Веяло от него силой и холодом, и Лиза стала бояться его по-прежнему, и даже больше. То, что он делал с ней, было ей противно и стыдно. Но она не смела ему противиться и подчинялась покорно и робко. И теперь, слушая Андреева, она представляла себе Коренева именно тем зверем, о котором он говорил; и ей было стыдно, больно и страшно, чтобы никто не узнал о ее ужасе, унижении и страдании.

Дора была молчалива и сосредоточена. Она почти не слушала спорящих и вся жила мыслью о том, что по ночам писала, пряча даже от Лизы. Ей казалось теперь, что, наконец, она нашла то, что ей было нужно, и, когда ночью иногда в жгучем волнении вставала от стола и начинала тихо, чтобы не разбудить Лизу, ходить по комнате, голова у нее горела, глаза расширялись, необъяснимое волнение, сладкое и мучительное, теснило грудь. Она проводила рукой по сухому горячему лбу, и что-то светлое, славное и громадное рисовалось ей впереди.

Но в один серый и холодный день в пустой и холодной комнате редакции ей вернули ее рукопись холодно и равнодушно.

Она шла домой через большой мост и тупыми, жалкими глазами смотрела в мутную, серую, уползающую вдаль воду. В душе стало сразу пусто, холодно, не хотелось жить.

Навстречу ей попались две товарки по курсам, одна высокая, полная и красивая, другая маленькая и веселая, как кошечка. Они остановили Дору и со смехом, блестя глазами и оглядываясь по сторонам без причины, стали рассказывать о состоявшейся сходке.

— Если б ты слышала, как говорил Точников!..

И они передавали содержание его речи бессвязно и восторженно, а потом стали восхищаться его наружностью.

— Я не выношу блондинов!.. — говорила быстро и дробно, точно рассыпая бисер, маленькая курсистка. — Но это что-то особенное!..

Она блестела глазками, и щечки у нее розовели, точно от поцелуя. Большая смеялась полным и круглым звуком, закидывая голову. А Доре были они противны и докучны. Она бросила их и ушла. Девушки пошли дальше, звонко смеясь, а Дора, стискивая зубы, думала: «Как мало им нужно, чтобы жить... Какая пошлость, какая пошлость!.. Господи, хоть бы умереть же»...

Ею овладела страшная злоба. Ей захотелось пронзительно крикнуть, ударить кого-нибудь, броситься ничком в грязный талый снег, биться в нем, царапать его руками, грызть и кого-то проклинать; проклинать так отчаянно и злобно, как когда-то при ней худая, заморенная еврейка с безумными глазами проклинала Бога и людей над трупом погибшего во время погрома сына.

Это было такое острое и мучительное чувство, что ей самой стало страшно и тяжело.

«Да что, в самом деле, случилось? — пыталась она спросить себя. — Ну, и пусть у меня нет таланта... что ж из этого?..»

«Не таланта, — отвечала она сама себе: — у меня ничего нет... На сходках я только молчу, учиться мне только скучно... я заурядная, ничтожная... Но это не может быть!.. Тогда лучше не жить!..»

Дома она впала в тяжелую и безнадежную апатию, и Лиза не могла вывести ее из напряженного тупого молчания.

— Дорочка, милая... да что с тобой? — спрашивала она тихо и трогательно. — Ведь ничего

не случилось.

И почему-то Доре казалось обидным это предположение Лизы; хотелось раскрыть перед нею какую-то мрачную и унылую бездну и осветить себя трагическим светом.

Однажды ночью Дора вдруг встала с кровати, босая и в одной рубашке, маленькая и тоненькая, с растрепанными сухими черными волосами, подошла к Лизе и села к ней на кровать.

— Лиза, — исступленно зашептала она, ломая сухонькие смуглые руки, — я говорю тебе, что я больше не могу!.. У меня была одна надежда подняться над толпой... Я не знаю, что теперь делать с собой и чего желать!.. Все кажется безнадежным, серым... И это жизнь!.. Если бы ты знала, что я передумала и перечувствовала за это лето в этой проклятой конторе, где на меня смотрели как на какое-то ничтожество... И каждый контролер смотрел на меня сверху!..

— Дорочка, это пройдет...

— Что пройдет? — почти крикнула Дора, с каким-то болезненным наслаждением прислушиваясь к собственным мрачным и резким словам. — Я не ребенок, чтобы впасть в отчаяние от случайной неудачи... Нет, я чувствую, что у меня в душе нет того, что дает людям возможность жить. Я не так глупа, чтобы утешаться какими-то игрушками... Я могла бы жить, если бы чувствовала себя вверху... над всеми... большой, смелой, гордой!.. А так, учиться, ехать, одною из тысяч, в глушь какую-нибудь, лечить всю жизнь каких-то идиотов, состариться и умереть так же незаметно, как жила... Неужели ты не понимаешь, какой это ужас!.. Пойми, целую жизнь! Лучше смерть! — страстно выкрикнула Дора, трагически вытягивая голые смуглые руки.

Лиза смотрела на нее большими серьезными и строгими глазами и лежала неподвижно. Слышно было, как на хозяйской половине что-то скрипело, точно там качали деревянную люльку.

Дора молчала и смотрела прямо перед собою, широко открыв черные миндалевидные глаза. И ей казалось, что в этих глазах Лиза видит сейчас что-то роковое, трагически прекрасное. Случайно высказанная мысль, казалось ей, осветила ее ужасным и красивым светом. И Дора подумала, что ничего нет красивее, величественнее и легче, как убить себя.

— Лучше смерть! — повторила она, сжав брови и прислушиваясь к своим словам.

Лиза поднялась на локте и серьезно кивнула головой.

— Я уже думала об этом... — просто, но с какою-то зловещей серьезностью сказала она.

Дора долго молчала и думала. Ей показались странными слова и тон Лизы, но долго останавливаться на них она не могла. Ей хотелось думать о себе. Лиза хотела еще что-то сказать, побледнела, шевельнула губами, но вздохнула и промолчала. Потом Дора тихо встала и сказала:

— Пойдем, пройдемся... Мне что-то нехорошо...

Лиза кивнула головой и встала, откинув одеяло. И почему-то Дора в первый раз за все время обратила внимание на ее мягкую стройную спину, покатые голые плечи и точеные круглые ноги.

Они оделись и вышли. На лестнице было темно и мрачно, под воротами спал дворник, похожий на кучу вонючей овчины. На улицах, слабо освещенных рядами мертвых желтых фонарей, было пусто и просторно, как на площадях. Они долго ходили по пустому городу, мимо молчаливых домов, с черными слепыми окнами. Попадались им навстречу черные

люди и исчезали, как тени. Дора тихо говорила о бесцельности и никчемности жизни, о своем решении уйти из нее. Она старалась подбирать только самые грустные, значительные слова, и когда они не подбирались и выходило шаблонно, ей почему-то было мучительно неловко.

Они были на набережной, когда за серовато-синими силуэтами крепости небо стало прозрачно и холодно розовым. И вода также стала розовой и холодной. Широкие волны тихо ударили внизу о камни, а вокруг все стало серовато-синим и прозрачным. Стекла окон заблестели стекляннным розовым блеском и сделались еще безжизненнее и глуше. Наступило утро. Они сели на каменную, сквозь платье проникавшую холодом, скамью и долю молча смотрели на реку.

Где-то, еще невидимое, всходило солнце. Уже шпиг крепости и верхушки домов засверкали красным светом, в котором стекла окон засияли, как звезды; а над широкой, то розовой, то синей рекой все еще было холодно и пусто. Только чуть видный туман скользил вдоль берегов, и его бледные утренние тени, колыхаясь, поднимались навстречу солнцу и бессильно таяли над холодной, мутной водой.

Х

С этого дня жизнь двух девушек пошла странно и тяжело. Стоило им остаться одним, и Дора начинала говорить все о том же, точно кто-то, сильнее ее, толкал ее. Ей было страшно и интересно говорить и думать, что она действительно может сделать так. Лиза смотрела на нее страдальческими и покорными глазами и казалась Доре жалкой и подчиненной. И Доре доставляло почти сладострастное наслаждение мучить ее своими речами. Мучить и страдать от ее страданий самой.

В угнетающей атмосфере постоянных разговоров о смерти становилось душно и невыносимо, и начинала вставать грозная необходимость найти тот или другой выход.

И чем ближе приближалась Дора к этой необходимости, тем острее было какое-то странное наслаждение. Временами ей казалось, что она все ближе и ближе наклоняется над пропастью, и хотя в глубине души она не верила возможности упасть, ей хотелось верить и заставить поверить и Лизу. И когда ей удавалось, Дора чувствовала себя сильной, красивой и наслаждалась этим. Временами, когда ей почему-либо становилось весело и легко, Дора стыдилась своего веселья, точно оно снова делало ее маленькой и обыкновенной, и насильно опускалась в мрачное и решительное отчаяние. И то, что Лиза постоянно была грустна и бледна, часто плакала и слушала ее серьезно и печально, помогало Доре настраиваться и верить в свое решение.

В одну напряженную тяжелую минуту, когда разговор принял уже невыносимо острый, мучительный характер, Дора назначила день, и в этот день Лиза пошла к Кореневу.

— Ты подожди меня! — серьезно сказала она Доре. — Мне надо... тут...

Дора подозрительно посмотрела в ее вдруг покрасневшее лицо, но ничего не сказала. Ей показалось, что Лиза боится и бежит, и в самой темной глубине ее души шевельнулось что-то робкое и таинственное, как нехорошая надежда, в которой нельзя признаться самому себе.

Студент был дома и при виде Лизы вскочил и обрадовался.

— А, Лиза! — ярким голосом вскрикнул он. — Вот не ждал!

Лиза молча вошла и, не раздеваясь, села у стола.

Коренев насильно стал раздевать ее и, уже раздевая, стаскивая узкую кофточку с полных и круглых плеч под натянутым серым платьем, стал возбуждаться, блеснуть глазами и раздуть тонкие ноздри.

Лиза опять села у стола, но Коренев поднял ее за руки, сел на кровать и посадил ее к себе на колени. Лиза сидела покорно и как-то слабо.

— Что это значит? — спрашивал Коренев. — Чем мы обязаны честью?

— Я скоро умру... — вдруг проговорила Лиза, и в ее всегда спокойных глазах появилось на мгновение что-то жалкое и молящее.

— Ух!.. Не может быть! — засмеялся Коренев. — Да не может того быть! повторил он, сдавливая ее мягкие, теплые ноги коленями и чувствуя, как все его тело дрожит и напрягается.

Лиза подняла на него печальные глаза, посмотрела и промолчала.

Коренев вдруг повалил ее через колено на кровать и стал целовать в шею и серое жесткое платье на мягкой груди. Лиза не сопротивлялась и отдалась ему так же покорно и безответно, как всегда. Потом встала, строго и серьезно посмотрела ему в глаза, как будто надеясь что-то увидеть, и задумалась.

— Ну, что же... будем теперь чай пить? — спрашивал Коренев, немного вспотевший, разгоряченный и счастливый.

— Я пойду... — тихо сказала Лиза. Чего ради?

— Так... — грустно ответила Лиза и вдруг робко и трогательно-нежно взяла его за руку. Коренев пожал плечами.

— Странная ты какая-то... — сказал он. — Ну, как хочешь.

Лиза тихо выпустила его руку, подумала, глядя в пол, потом встала и оделась. В дверях она остановилась и посмотрела на Коренева.

— Спасибо, что пришла... — почему-то сказал Коренев.

Лиза вздохнула и затворила дверь. Коренев слышал, как хозяйка в передней проворчала ей вслед.

— Шляется... а еще барышня, курсистка!

XI

Лиза шла по улицам. Уже смеркалось и зажигали фонари. Она шла быстро и легко, немного подавшись вперед и глядя на мокрые плиты тротуара. Кто-то обогнал ее, и маленькая белая собачонка попала ей под ноги. Лиза вздрогнула и быстро подняла глаза.

Впереди степенно шел маленький гимназистик, в серенькой шинели и большой фуражке. Белая веселая собачонка бежала сзади, поминутно несоразмеряя скорости и удивленно тыкаясь гимназисту в ноги.

Необычайно теплое и нежное чувство волной наполнило грудь Лизы и глаза у нее стали

мокрыми. Ей болезненно ярко вспомнились Сережа и лаечка. И чувство давящего одиночества сменилось горячим чувством нежности и радости. Она свернула со своей дороги и сама не зная зачем пошла за гимназистиком и его белой собачкой. Они шли долго, и все время Лизе было и легко, и грустно, и хорошо, она забыла о том, что надо идти домой, и, крепко прижав муфту к груди, не спускала глаз с маленькой серой шинели и ушастого большого картуза над розовыми торчащими ушами. По временам гимназистик оглядывался и с недоумением смотрел на высокую, полную барышню, неотступно идущую за ним. Она улыбнулась ему робко и чуть заметно; а он опять поворачивался и, желая доказать свою независимость, кричал пискливым голосом:

— Фарсик, иси... не смей бегать!.. Я тебе дам!.. Фарсик озабоченно острил белые уши и, подняв хвост калачиком, тыкался ему в ногу. Лиза тихо смеялась.

— Домой, домой! — пело что-то сладкое и радостное у нее в груди.

Вдруг гимназистик быстро повернул к калитке, оглянулся еще раз на Лизу и, видя, что она остановилась, демонстративно крикнул:

— Фарсик, сюда!

Белый Фарсик махнул через порог, и серая железная калитка плотно закрылась.

Лиза как-то неожиданно осталась одна. И так же быстро, как пришло, так же и ушло теплое нежное чувство радости. На улицах было грязно и пусто, и желто блестели фонари. Шли люди, отражаясь в мокрых камнях, и в сумраке казались безличными.

Лиза постояла на месте и пошла назад, пошатываясь на ослабевших ногах.

Сережа, дом, отец — все бессильно мелькнуло в ее голове и исчезло. И одно давящее и безнадежное сознание, что она «не может» уже вернуться туда, что той Лизы, которая веселая и чистая жила в том старом доме с Сережей, с лаечкой, со спокойствием и радостью, — уже нет и никогда не будет.

Чувство, похожее на то, как будто она быстро пошла ко дну, в пустую, мутную, зеленоватую воду, и вода глухо зашумела в ушах, затемнило все в ее глазах и душе. Широко раскрыв глаза, Лиза, с ужасом подняв обе руки, отчаянно прижала муфту к виску и остановилась.

— Конец! — сказал у нее в душе холодный, решающий голос. И в ней все затихло, упало, стало пусто и мертво.

## XII

Когда Лиза пришла домой, Дора ничком лежала на кровати. Услышав стук, она быстро, как от толчка, приподнялась и уставилась на Лизу горящими, воспаленными глазами.

— А, это ты... — проговорила она звенящим, неверным голосом. — Как ты меня испугала!..

Лиза машинально разделась, зажгла лампу и увидела на столе лист бумаги, исписанный Дорой, и черный уродливый револьвер, смутно поблескивающий холодным металлическим блеском.

Дора встала и подошла.

— Смотри, что я написала... — каким-то неестественным голосом проговорила она. Ей было неловко и стыдно чего-то, хотя она и старалась уверить себя, что все в ее поступках и словах — красиво и мрачно.

Лиза облокотилась одним локтем на стол и молча прочла: «В смерти нашей, конечно, просим никого не винить. Мы умираем, оттого что жизнь вообще не стоит того, чтобы жить».

— Я думаю, что этого достаточно? — со странным авторским самолюбием вздрагивающим голосом проговорила Дора, мучительно чувствуя, что все выходит как-то наивно и глупо, и оттого стыдясь взглянуть Лизе в глаза.

Лиза молчала и стояла в неудобной позе, облокотившись одним локтем на стол. Коса свесилась у нее через плечо и свернулась на столе. Лизе вдруг захотелось взять перо и приписать еще что-то другое, самое главное для нее, что наполняло ее грудь и сжимало сердце. Но она только вздохнула и медленно выпрямилась. Потом тронула револьвер пальцем и оставила.

— Да, что ж... мне все равно... — тихо проговорила она.

Наступило тяжелое и мучительное для Доры молчание. «Надо же что-нибудь делать... Как все глупо выходит...» мелькало у нее в голове.

— Надо запереть дверь... — сказала она нерешительно и краснея.

Лиза тихо прошла и заперла дверь... Опять наступило подавленное молчание и становилось все тяжелее и тяжелее. Лиза стояла у двери, а Дора у стола. Что-то огромное, невыносимо страшное и нелепое выползло из всех углов и наполняло комнату. Доре показалось, что лампа начинает тухнуть.

— Да что ж это такое! — хотела крикнуть она, но вместо того спросила: Где ты была? — таким странным голосом, точно что-то круглое сидело у нее в горле.

Лиза тоскливо повела на нее глазами и не ответила.

— Ну, что ж... надо к... кончать... — с усилием ворочая коснеющим языком, будто какой невероятной тяжестью, сказала Дора.

Лиза глухо ответила.

— Да...

Дора протянула руку и, не веря себе, взяла револьвер. Холод и дрожь пробежали у нее по всему телу. Ее стала бить лихорадка, мучительная и страшная. Все звуки стали вдруг глухи и слышались как будто издали. Казалось, что какой-то туман поднимается с пола и становится кругом, отделяя ее от всего мира. Когда она приложила револьвер к виску и холод, железный и острый, мгновенно пронизал ее череп, лицо Доры страшно исказилось, как будто в бессильной смертельной борьбе.

«А вдруг та не застрелится и я останусь в дурах! — с острой и нелепой подозрительностью мелькнуло у нее в мозгу. — А впрочем... Это все так... чепуха!» — подумала она в ту секунду, когда уже чувствовала, что сейчас нажмет спуск конвульсивно сжимающимся пальцем. Как сквозь стену она услышала, как Лиза что-то сказала, и быстро опустила револьвер. Невыразимо сладкое облегчение и страшную слабость почувствовала Дора и опустилась на стул.

— Я... сначала... — сказала Лиза с непонятным, печальным состраданием и тоской.



Дора молчала и смотрела на нее безумно выпученными глазами. Зубы у нее стучали.

— Потом ты... — добавила Лиза строго.

Она подошла к столу, взяла револьвер из ослабевших пальцев Доры и спокойно и аккуратно приложила его к левой стороне груди, слегка прижав мягкое тело.

Дора видела ее серьезные, немного выпуклые серые глаза и лицо в тени, и ей все больше и яснее казалось, что все это какая-то странная, скверная шутка, неизвестно чья и над кем. В следующий момент лицо Лизы отчетливо и страшно изменилось в выражение невыразимой тоски и отчаяния, оглушительный грохот ахнул у Доры в ушах и почему-то послышался резкий звон разбитого стекла. Лиза покачнулась, коротко взмахнула рукой и, страшно широко раскрыв глаза, цепляясь за стол и опрокидывая на себя стакан с холодным чаем, во весь рост повалилась на спину. Стул опрокинулся и с грохотом откатился на середину комнаты.

— Ай!.. — ужасающим голосом, острым, как нож, пронзительно закричала Дора, обеими руками хватаясь за голову... — Лиза!..

Какой-то кровавый кошмар наполнил ее голову, все закружилось вокруг в невероятном вихре, и Дора с размаху ударилась о дверь.

— А... а... а... а... а...!.. — долгим, равномерно ужасным и пронзительным криком кричала она, в исступлении царапаясь в запертую дверь, которая уже дрожала и рвалась от ударов снаружи.

В коридоре громко и тревожно гудели многочисленные голоса.

### XIII

На улицах было еще почти светло, но фонари уже горели и их золото странно и красиво блестело в синеватом сумраке летнего вечера.

Как-то напряженно тихо было в пустой квартире. Горела только одна лампа в столовой и, как огромная, мертвая, огненная бабочка с распростертыми крыльями, неподвижно висела над белым столом. Слышно было, как где-то скучно тикали часы, точно для собственного развлечения, наедине отсчитывая никому не нужное время. Были спущены все шторы, и оттого казалось, будто за стенами — черная, непроглядная, глухая ночь.

Закутавшись в большой теплый платок, Дора тихо лежала на кровати в маленькой темной спальне и думала.

Прошел год со дня смерти Лизы Чумаковой, и на ее могиле, должно быть, давно уже проросла вторая трава. Черной полосой был этот год для Доры: острая грусть, болезнь, ядовитый стыд истомили ее. Лицо у нее похудело, глаза стали блестеть болезненным выражением, голова стала еще больше, а тело меньше и слабее. Но в душе ее по-прежнему жило что-то беспокойное, что жгло ее сознанием своей незначительности, неодолимо толкало на поиски великого, красивого и сильного, в один год протащило ее через всю Россию, сквозь тысячи опасностей и втолкнуло, наконец, в эту пустую, зловещую квартиру, в которой зародился и вырос обширный террористический заговор.

Было страшно холодно и невыносимо тяжело думать о том, что должно было произойти

завтра, но все-таки Дора знала, что пойдет и сделает все, и душа ее наполнялась наивным, тайным восторгом, что именно ей поручена ответственная и опасная роль. Огромное кошмарное дело политического заговора как-то расплывалось, не укладывалось в сознание, и Дора видела только себя, с замиранием сердца представляя себе свое спокойное и гордое лицо среди какого-то кровавого хаоса.

Она лежала тихо и смиренно, и только глаза у нее блестели в темноте, как у спрятавшейся мыши.

В соседней квартире, за глухой стеной что-то упало, и почему-то это тяжелое падение опять вызвало со дна ее памяти скорбные воспоминания, целый год мучившие ее, как тяжелый бред. Стала опять сверлить вечная мысль о том, что она не сумела умереть так просто и хорошо, как Лиза. В сотый раз она попыталась объяснить себе это случайностью и в сотый раз поверила, но в самой глубине души, в темном, никому не ведомом уголке снова заныла болезненная, кровоточащая ранка.

Стало и страшно, и стыдно, и одиноко, и тяжело, как никогда.

Звонок задрожал в передней, и звук его, острый и предостерегающий, пробежал по всей квартире, сначала тихо, потом громко и отрывисто, а немного спустя опять тихо и долго, точно просясь.

Что-то испуганно вздрогнуло в груди, но сейчас же исчезли воспоминания и оттого стало легче. Дора торопливо встала и пошла в переднюю. В столовой уродливая черная тень родилась от неб на стене, кривляясь, проводила до дверей и скрылась в темной передней.

На лестнице было светло, и фигура Андреева, в пальто и ушастом картузе, отчетливо вырисовывалась в ярком четырехугольнике открытой двери.

— А, это вы? — тихо сказала Дора. — А остальные?

Андреев неторопливо запер дверь, снял шинель и шапку и тогда только ответил:

— Они придут в девять часов. Незнамову надо будет дать поесть. Он здесь останется ночевать.

— У меня все готово... — ответила Дора.

Они прошли в столовую. Дора села на кушетку, по-прежнему кутаясь в платок до самого подбородка, точно ей все время было холодно.

Андреев принес из передней какой-то сверток, отпер шкаф и осторожно, как стеклянную вещь, положил его на полку.

— Вы тут поосторожнее... — предостерегающим голосом сказал он.

Наступило молчание. Андреев медленно прохаживался из угла в угол. Дора молча следила за ним глазами, и ей казалось, что во всей квартире висит что-то тяжелое, что давит грудь и голову.

— Ну, что... все готово? — спросила она только для того, чтобы не молчать.

Андреев, должно быть, понял это, потому что ничего не ответил.

— Кто такой Незнамов? — опять спросила Дора. Андреев внезапно остановился перед ней, перестал дергать усы и улыбнулся.

— Я не могу сказать этого даже и вам... Да это все равно. Хороший человек... настоящий... это самое главное... Ну, впрочем, скажу, что он студент.

Андреев опять стал ходить по комнате и кусать усы.

— Не знаю, чем все это кончится... — заговорил он раздумчиво. Но если они пропадут, то будет скверно... Нам таких людей скоро не нажать. Да... В другой стране они сделали бы великие дела, а тут, чего доброго, пропадут ни за грош...

— Ну же... где же ни за грош! — протянула Дора.

— А вы думаете, я бы их отдал за какую-то старую сановную обезьяну?.. Дора улыбнулась.

— Вы так говорите, точно сами не рискуете... — сказала она с невольной легкой лестью. Андреев махнул рукой.

— Нет, я что... моя роль самое большое «шлиссельбургская»... А их прямо на виселицу... А жаль. Я их обоих хорошо знаю ведь... И оба они мне дороги так, что я, пожалуй, спокойнее сам бы пошел...

— Почему же вы и не пошли?

— Нельзя же всем сразу... — улыбнулся Андреев. — Придет и мой черед.

— Так вы Незнамова знаете?

— Да. Я его давно знаю... Сложная, богатая натура... Коренев — это борец по природе... по темпераменту... Он потому только и взялся за дело, что в настоящее время нет выше и отчаяннее борьбы, как революционная... Только в борьбе за свободу, когда все силы человеческие напрягаются для того, чтобы или разорвать цепь, или самому погибнуть, возможно такое высокое напряжение... Коренев, в сущности, жестокий человек... Да... А Незнамов только ожесточенный... Он ведь удивительно добрый и нежный... Все настоящие анархисты, должно быть, такие же добрые, чуткие люди: та огромная масса зла, грубости и несправедливости, которая наполняет мир и которая для нас только печальный факт, — для него настоящий ужас!..

Андреев остановился и стал задумчиво жевать кончик левого уса. Глаза у него стали мягкими и задумчивыми.

— Есть такие натуры, — опять заговорил он, — которые поднимают на себя все зло мира и переживают его в глубине своей уединенной души от начала до конца... и душа у них окровавленная... да. Им становится непереносимо и невозможно только сострадать и возмущаться, потому что общее страдание уже становится их собственным страданием. Наступает тот момент, когда у них душевная боль достигает такого невыносимого напряжения, что... надо уже или самому умереть, или вступить в активный бой. И тогда эти мягкие, нежные, музыкальные души становятся неподвижно напряженными, ожесточаются... да. А душа у Незнамова чистая, святая... Жаль, если он пропадет!..

Андреев махнул рукой и зашагал по комнате. Опять слышно стало, как скучно и монотонно тикают часы. Дора сидела понурившись, и неясная, тайная для нее самой мысль, что у нее душа тоже какая-то особенная, приятно и стыдливо пронеслась у нее в голове.

— Да... Так-то, Дора Моисеевна! — проговорил Андреев. — Помните же: вы будете стоять на углу так, чтобы нам было видно и с вокзала, и от переулка. Когда поезд придет и князь выйдет из вагона, акушерка выйдет на крыльцо и махнет рукой извозчику. В это время вы должны обмахнуться платком, точно вам жарко, и этот сигнал передадут до кофейни; а когда князь сядет в карету, вы повторите сигнал. По второму сигналу Незнамов и Коренев выйдут

навстречу... Вот...

— Помню... Неужели вы думаете, что это можно забыть? — возразила Дора.

— Я этого не думаю... — спокойно ответил Андреев. — Но на мне лежит обязанность проверить... Вы, главное, не волнуйтесь...

Дора отрицательно покачала головой.

Стало тихо, и долго было тихо, пока не прозвучал в темной передней новый звонок, точно повторяя заученный звук.

— Ну, вот и они... — сказал Андреев спокойно и пошел отворять.

Слышно было, как загремел дверной крюк и вошли люди. Дора подняла голову и заблестевшими глазами уставилась навстречу.

Коренев был так же высок, красив и размахисто подвижен, как и прежде. Незнамов был так же высок, как и он, но тоньше и изящнее его. Был он белокур, с большими глазами и мягкими волосами, и болезненно неожиданно напомнил Доре покойного Пашу Афанасьева. Оба они пожали ей руку.

— Вы бы нам чаю дали, товарищ Варшавская... — шутливо сказал Коренев, сразу наполняя всю тихую квартиру своим голосом, фигурой и силой движений. Доре показалось, что от него пахнет свежестью и воздухом, как будто он пришел с мороза.

— Хорошо... — стараясь попасть ему в тон, притворно спокойно ответила Дора и ушла в кухню, где долго ставила самовар, неумелыми руками роняя крышку и просыпая уголь.

Из столовой ей были слышны голоса и смех Коренева, беззаботно и оживленно рассказывавшего, на какие уловки пришлось им пуститься, чтобы сбить с толку преследовавшего их сыщика. А когда она вернулась, Коренев говорил, сидя верхом на стуле:

— Кто мне нравится, так это наша акушерка!.. Вот особа!.. Она и во время светопрествления будет так же спокойна, как на родах!.. А знаете, я эти два дня чувствую, что живу... Жаль только, что все скоро кончится!

— Подожди еще! — угрюмо возразил Андреев.

— Нет, брат, — засмеялся Коренев, весело скаля белые зубы, — нам с ним один день, а там-фью!..

Белокурый Незнамов молча постучал тонкими, худыми пальцами о край стола, точно выстукивая ему одному слышный мотив.

От веселого смеха Коренева и его короткого выразительного свиста смутный холод вдруг поднялся и подступил к самому затылку Доры. Ноги у нее задрожали, и, охваченная внезапной слабостью, Дора присела на край кушетки. Как сквозь туман, слышала она, что говорил Коренев, и его громкий бодрый голос странно глухо доходил до нее.

— Скверно то, что людей мало... Берутся все, а как до дела дойдет — и пиши пропало.

Дора опомнилась. Ей постоянно мучительно казалось, что высокий и красивый студент в глубине души презирает ее, и в его присутствии она всегда подтягивалась.

Она торопливо улыбнулась, бросила робкий и быстрый взгляд на Незнамова и встала.

— Чай будете пить с лимоном? — спросила она.

— Я?.. Да... — машинально ответил Незнамов.

За чаем, которого никто не пил, кроме Коренева, больше молчали, и в этом молчании как будто слышнее было, как идет время и приближается страшный, роковой день.

— Ну, мы уходим... — сказал Коренев, поднимаясь. — До завтра! Все встали.

— Вот Дора Моисеевна укажет вам, где все лежит... — серьезно и деловито сказал Андреев Незнамову.

— Хорошо. Прощайте! — ответил тот. Одну минуту все напряженно молчали, как будто не знали, что дальше делать.

— Да, — тихо сказал Андреев, — может быть, больше и не увидимся...

Он подошел к Незнамову и обнял его нежно и искренно.

— Прощайте, голубчик! — ласково ответил Незнамов.

И от этого ласково-печального голоса и затуманившихся глаз Андреева Доре вдруг стало невыносимо остро жаль и себя, и их всех. Слезы выступили у нее из глаз и покатались мимо носа на вздрагивающие губы.

Коренев крепко пожал руку Незнамову и молча улыбнулся. Незнамов ответил ему такой же тонкой, печальной улыбкой.

Потом Коренев и Андреев ушли, а Дора пошла запереть за ними дверь и долго прислушивалась к удаляющимся шагам. Хлопнула вниз дверь, и все стихло.

Когда она вернулась, Незнамов стоял у окна и, чуть-чуть отодвинув штору, смотрел на улицу. Была еще ночь, и улицы были странно пусты, но небо уже сияло прозрачным утренним светом, и последняя звезда нежно голубела высоко над землей.

— Уже светает... Короткие у нас ночи... — ласково улыбаясь, сказал Незнамов, услышав шаги Доры.

— Да... — застенчиво ответила Дора и машинально стала прибираться на столе.

У нее было странное, смешанное чувство: и впервые вошедшего ей в голову сознания бесповоротности решения, и смутной девической неловкости, и наивной, гордой радости, что она остается одна в последний вечер с человеком, имя которого завтра пронесется по всей России и заставит задрожать ужасом самые каменные сердца недоступных и властных людей.

На дворе медленно, но неуклонно разгоралась заря нового дня и его розовые, еще бледные отблески ложились на светлые волосы и лицо Незнамова.

Он тяжело вздохнул, отошел от окна и, мягко улыбаясь, сказал Доре:

— Быть может, это последнее утро, которое я встречаю... Одного мне только и жаль!.. В сущности говоря, я большой мечтатель: люблю солнце, небо, осень, весну... люблю траву... все светлое, тихое, жизнерадостное... и мне вовсе не хочется никого убивать, не хочется умирать...

— Почему же вы идете на это? — робко спросила Дора, и в ней опять шевельнулось гордое сознание, что вопрос ее — вопрос исторический.

— Как вам сказать?.. — слабо улыбаясь, ответил Незнамов. — Вернее всего, что именно

потому, что чересчур люблю жизнь и мне слишком больно смотреть, как ее уродуют!..

Он стоял перед Дорой, высокий, тонкий и весь какой-то светлый, и все улыбался, а горло Доры опять сжалось острой тоской, и, чувствуя, что сейчас расплачется, она торопливо протянула ему руку и сказала, не глядя:

— Дай Бог, чтобы все это благополучно окончилось...

— Нет, что ж... — махнул рукой Незнамов. — Все равно... Не в этот раз, так в другой... все равно... всех тех, которые довели народ до такого ужасного состояния, я считаю своими врагами, и если мне удастся спастись теперь, я пойду и убью другого... Все равно...

Дора подняла голову и посмотрела ему в глаза: они были светлы и печальны. Что-то большое, светлое и невыразимо дорогое вошло от этих глаз в душу Доры, и она показалась себе самой неизмеримо маленькой и ничтожной. Но на этот раз это сознание почему-то было не мучительно, а даже трогательно. Слезы опять выступили у нее на глазах.

Шторы побелели, и за ними послышались первые слабые и одинокие звуки жизни.

— Нет ли у вас бумаги и чернил? — спросил Незнамов. — Я хочу написать матери... потом вряд ли удастся.

Дора не могла говорить и только кивнула головой. Она принесла ему бумагу, постояла, хотела что-то сказать, но ничего не могла и ушла в спальню.

Долго потом она лежала, неподвижно закутавшись в свой большой, мягкий платок, прислушиваясь к шороху бумаги и его движениям, и ее маленькое, одинокое сердце разрывалось от жалости, от грусти и светлого влюбленного чувства к этому человеку. Хотелось встать, пойти к нему, приласкать, заплакать над ним, и своим телом, своими объятиями оградить и защитить его от грядущего ужаса. Но она лежала неподвижно и только тихо плакала, боясь, чтобы он не услышал.

#### XIV

Над городом висело пыльное и дымное небо, в которое было больно смотреть.

По проспекту и по смежной улице быстро катились экипажи и были так похожи друг на друга, что казалось, будто они нарочно ездят взад и вперед по одному месту. По обоим тротуарам шли люди, торопливо разворачиваясь в бесконечный, пестрый свиток. От домов лежали короткие синеватые тени, и было так жарко, что трудно дышалось.

Доре было тяжело и нудно стоять. От бессонной ночи, недавней болезни и тяжелой тревоги слабость проходила по всему телу и тихо кружила голову с горячими, потными висками. Она стояла на углу улицы, в короткой и душной тени, и поверх голов проходящих людей напряженно смотрела в сторону вокзала.

На его широком подъезде, раскаленном солнцем, стояли носильщики в белых фартуках и поднимались и спускались люди. Быстро подъезжали извозчики и медленно отъезжали. Над фронтоном высоко круглились часы и как будто наблюдали строго и точно за всем, что происходило на площади.

Доре казалось, что она всегда стоит тут и всегда смотрит на эти часы, на сверкающие на солнце белые фартуки носильщиков, на широкие каменные ступени. Старое, давно знакомое

здание вокзала как будто отделилось от всего мира и стояло тяжелое и зловещее. И если бы Дора даже захотела, она не могла бы уже оторвать от него своих воспаленных и напряженных до боли глаз. Оно давило ее.

Тупая тревога все росла и росла в груди. Было жарко, но под сердцем стоял холод и колени дрожали мелкой, мучительной дрожью. Это было незаметно, но Доре казалось, что эта дрожь должна кидаться всем в глаза, как уродливая судорога. Вокруг нее дробились, путались и звенели тысячи разнообразных, ярких звуков, то поднимаясь, то падая, как волны; но они незаметно, бледно входили в сознание Доры, а каждый тихий, непонятный звук предостерегающе ярко врезался в мозг, вызывая острые толчки в сердце и липкий, холодный пот на раскаленных висках. Люди шли и шли, и тысячи незаметных пестрых лиц мелькали в глазах.

Иногда это было так мучительно, что ей хотелось опростеться убежать отсюда на край света, броситься на кровать лицом к стене в тихой, как норка, комнате и долгие часы, всю жизнь видеть перед собою только простенькие, пестренькие обои.

«Если это так мучительно, так кто же меня заставляет?..» — мелькало у нее в мозгу удивленно и просто, так просто, что временами хотелось пожать плечами, повернуться и тихо, с улыбкой, уйти. Но Дора делала над собой мучительное усилие, крепко сжимала в себе что-то дрожащее и болезненное, и в неестественно обостренном сознании у нее билась мысль: «Неужели же я так боюсь?..»

И эта мысль о маленькой, жалкой трусости вызывала в ней бледный, далекий образ Незнамова и становилась так невыносимо ужасна, что на мгновение ей даже становилось легче: робость исчезала, ноги стояли тверже, и в глазах смягчалась болезненно жгучее напряжение.

Мимо нее, легко и ровно ступая, прошел высокий человек с тонким лицом и подстриженными в скобку черными курчавыми волосами, в поддевке и высоких сапогах. Дора мельком взглянула на него, и, как сотни людей, проходивших мимо, он уже почти ушел из ее глаз, но вдруг что-то знакомое кольнуло ее, и Дора узнала Коренева. У него было спокойное и даже будто веселое лицо, но оно было как-то странно неподвижно, как каменное.

Коренев прошел быстро, не останавливаясь, но на ходу, под грохот экипажей и шум шагов, глядя не на Дору, а прямо перед собой, проговорил:

— Смотрите... теперь скоро...

Последнее слово Дора не услышала, а почувствовала. Он прошел и скрылся в толпе, а в ушах Доры остались эти быстрые, мгновенные слова.

По пятам за ним прошел какой-то толстый господин в цилиндре, с бритым чиновничьим лицом. Дора быстро взглянула и ему в глаза; но это было совершенно чужое, плоское и геморроидальное лицо.

Время шло... А Доре казалось, что оно остановилось. Она еле держалась на ногах; каждый нерв казался обнаженным и дергал все тело мучительной судорогой, и иногда ей хотелось сесть под стеной, прислониться к ней усталой головой и закрыть глаза.

«Господи, хоть бы уже скорей... хоть бы, скорей...»- смутно мелькало у нее в голове, и по временам наступало тупое равнодушие, от которого она мгновенно пробуждалась с ужасом и болью и опять смотрела на тяжелый, зловещий вокзал.

На улице продолжалась своя пестрая и обыкновенная жизнь. По-прежнему шли и ехали из стороны в сторону люди и лошади, и казалось, что все это одни и те же. Небо дымилось и

сверкало на солнце.

— Чего стал? — с озлоблением крикнул молодой рыжий дворник, недалеко от Доры отворачивавший водопроводный кран. — Проезжай, ты... леший черт!

Извозчик испуганно вздрогнул и, неловко задергав вожжами, проехал дальше. Но Дора уже узнала Ларионова, и его близорукие глаза и бесцветная борода, такие странные над чужим синим армяком, мелькнули для Доры чем-то невыразимо близким и милым.

«Что он делает!.. Ему не там стоять!» — со страшным испугом подумала она, и ей припомнилось, как Коренев с озлоблением говорил:

— Все берутся, а как до дела доходит, и перепутают все со страха.

Тогда Дора почувствовала обиду и ненависть к Кореневу, но в эту минуту в ней вдруг выросла прямая и ужасная уверенность, что она испугается, забудет что-нибудь и все перепутает, губя себя и всех. И эта уверенность уже не покидала ее, наполняя душу растерянностью и ужасом.

По всему телу Доры выступил холодный пот. Со страшными усилиями, путаясь от этих усилий и обмирая от страха, она стала припоминать все подробности, и все казалось ей, что-то самое главное она забыла.

«Когда на подъезд выйдет эта... акушерка Труд... Какое странное имя!.. Не в том дело... Да, когда она выйдет и позовет извозчика... тогда надо... тогда надо... тогда надо... ну, да... да...» — безобразно скомканно и разорванно вертелось в больном мозгу Доры, и, теряя нить, она вдруг поймала на себе чей-то странно пристальный взгляд.

Прошел мимо мещанин в чуйке и еще издали пристально и как будто украдкой посмотрел Доре в лицо, а когда она поймала его взгляд, быстро отвернулся и перешел на другую сторону, мелькая между движущимися экипажами и лошадьми.

«Сыщик... открыли!» — со зловещей и холодной ясностью прошло в мозгу Доры.

Все было по-прежнему, но за этой шумной и пестрой, стремящейся толпой вдруг ясно почудилось что-то тайное, молчаливо и страшно подползающее, невидимое и неизбежное. Как будто чьи-то невидимые, нечеловеческие руки, тихо и лукаво раздвигая толпу, стали медленно и неуклонно приближаться к ней.

И сознавая, что находится во власти кошмара, Дора сцепила зубы и сделала невероятное усилие удержать прыгающую челюсть.

«Глупости... чего ради... давно бы уже схватили!» — скачками прыгала жалкая, оборванная мысль. Дора стала судорожно двигаться из стороны в сторону и оглядываться, как пойманный зверек.

И как раз в эту минуту на широкие каменные ступени вокзала тихо и спокойно в строгом черном платье вышла акушерка Труд и махнула рукой ближайшему извозчику.

Что-то ударило в голову Доры, в глазах у нее все перекошилось и помутнело.

«Вот...» — слабо подумала она.

И неестественно порывисто, сознавая, что делает не так, как нужно, Дора выхватила из кармана платок. Белый клочок мелькнул на солнце растерянно и ярко. Мельком она успела еще увидеть, что к вокзальному подъезду медленно и важно подкатывает большая черная карета.



Тот самый, такой обыкновенный, бритый толстяк в цилиндре откуда-то сбоку быстро подвинулся к Доре и неестественным, страшным голосом спросил:

— Что вы тут делаете?

Дора круто повернулась к нему, ее мертвенно бледное лицо осветилось огромными, выпученными от ужаса глазами, и, ничего не понимая, но в то же время сознавая, что делает что-то нелепое, гибельное, Дора выхватила из кармана револьвер и, почти ткнув его во что-то мягкое, выстрелила. Короткий, негромкий звук родился в грохоте экипажей. Бритый толстяк встряхнулся всем своим жирным и толстым телом, цилиндр сразу съехал ему на глаза, падающим шагом он попятился назад, на середину улицы и грузно осел прямо под ноги извозчичьей лошади, с треском и звоном дернувшейся в сторону.

Все смешалось на этом месте, и Дора увидела только черный цилиндр, выкатившийся из-под ног вихрем взметнувшейся толпы. Нестройный многоголосый крик повис в воздухе.

«Пропала!» — мелькнула короткая, бесцельная мысль, и Дора, расталкивая толпу, стремительно бросилась за угол, споткнулась на резиновый рукав трубы, лежавшей поперек тротуара, и, чувствуя, как ее хватают и бьют по голове страшной, тупой тяжестью, закрыла глаза и упала на руки, больно шлепнув ими о твердые, жесткие плиты.

— Кончено! — как будто сказал над нею какой-то глухой, тяжелый голос, наполнивший ужасом весь мир, и она потеряла сознание.

Когда что-то опять прояснилось в ее глазах, ее сажали на извозчика и двое городских с желтыми шнурами и озлобленными, искаженными лицами толкали и дергали ее, с обеих сторон втискиваясь за Дорой в пролетку. Голова у нее стремительно шла кругом, неудержимо увлекающая все вокруг в хаотическом кружении, что-то невыносимо резало висок и по губам текла густая и теплая кровь.

На середине улицы ей врезалось в глаза дикое, совершенно безумное лицо Ларионова. Лошадь его держали под уздцы как будто целые десятки вытянутых, напряженных рук. Цепкие, искривленные пальцы впивались в его армяк, но Ларионов, с выпученными нечеловеческими глазами, очевидно, уже ничего не понимая, неистово рвал вожжи и со свистом хлестал лошадь. А она подымалась на дыбы и билась на месте, высоко задрав голову с ощеренными мертвенно белыми зубами.

— Держи! Стой!.. — нестройно, со страшной злобой кричали со всех сторон, казалось, и люди, и стены домов, и грохот экипажей, и яркий свет.

Доре показалось, что это — страшный сон.

Когда извозчик тронулся и Дору, опять потерявшую сознание, провезли мимо вокзала, на широких ступенях его стояли какие-то важные и толстые люди, в форме и строгих пальто, а за ними, у колонны, спокойно прислонилась высокая, черная акушерка Труд с презрительным и злым лицом.

1905